

МАРК ВЕРО

Оазис человечности

РОМАН-ПРИТЧА

16+



Марк Веро

Оазис человечности

«Автор»

2005

Марк Веро

Оазис человечности / Марк Веро — «Автор», 2005

ISBN 978-5-532-99723-3

Дочь сенатора, политики, жрец ордена, начальник стражи - судьбы разных людей пересекаются в Древнем Риме времен упадка. Их ждут трудности, но удастся ли кому найти сокровище: вплетённый в нить реального незримый мир чудес, как оазис в пустыне? Аврора пользуется красотой, живя сегодняшним днем. Очаровывает мужчин, распоряжаясь их сердцами. Но находится тот, кто завладевает её собственным! Любовь и поиски души, борьба в сенате и власть. Роман-притча — он говорит о добре и зле как в обществе, так и в каждом отдельно взятом человеке.

ISBN 978-5-532-99723-3

© Марк Веро, 2005

© Автор, 2005

Содержание

Предисловие, или «Lectori benevolo salutem»[1]	5
Часть I. Горькие корни	7
Глава I. Жизнь честных людей	7
Глава II. Красота и гармония	17
Глава III. Ничто не вечно под луною	22
Глава IV. Посланник	26
Глава V. Под толщею земли	29
Глава VI. Совет семерых	35
Глава VII. Изгнание	37
Глава VIII. Источник света	40
Глава IX. Безысходная любовь	45
Глава X. Молния разит и скалу	57
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Марк Веро

Оазис человечности

Предисловие, или «*Lectori benevolo salutem*»¹

Приветствую тебя, добрый путник, идущий к свету через тьму, приветствую тебя, усердный искатель, ищущий знание среди осколков разбитого мира, как чистую слезу среди пыли безводной пустыни!

Зная, как порой бывает скучно читать вступления и витиеватые предисловия многоречивого автора, постараюсь уберечь тебя, читатель, от подобной беды и в меру сил и таланта занять твои сердце и ум.

Все же прошу уделить внимание этому предисловию, иначе само повествование покажется тебе непонятным и невозможным.

Друг, жаждущий глотка воды среди засухи, как же мы близки с тобою! Всмотривался ли ты в необъятное звездное небо, когда в тишине ночи по нему скользили созвездия и тысячью глаз смотрели сверху? Доводилось ли тебе испытывать это чувство бесконечного единства, которое наполняло неизъяснимым восторгом душу? Слышал ли ты ту речь, что вели с тобою звезды, и возносился ли к ним в своих мечтах? Что ты тогда чувствовал, внимал ли свету, что струился из беспредельности космоса? Если да, то ты непременно породнился со всем мирозданием, с каждой его частицей: так, будто ты был во всем, и все было в тебе. И один общий язык связывал вас воедино – язык мечты!

Вот и сейчас: мы далеки, и в то же самое время рядом – нас спланивает то единое, имя чему «человек». Вместе и порознь, мы как творцы и писатели: только пишем свою жизнь, ежеминутно, ежесекундно. И душа человеческая – как открытая книга, куда заносятся все его победы и поражения, плоды неустанной борьбы за право стать лучше.

Ты держишь в руках своих книгу, я же, как начнется повествование, останусь всего-навсего сторонним наблюдателем – уже ты будешь творить собственный мир, и он оживет! Мы совершим путешествие, как путники, отделенные легчайшей занавесью. Не в силах видеть друг друга, мы, тем не менее, будем неразрывно связаны, и тайна этого – книга: она запечатлела мое состояние, и моей перемены ей не узнать, ведь, как говорили древние, «окончив книгу, автор прыгает от радости». Тебе же, мой близкий и далекий спутник, лишь предстоит услышать музыку души. Состояние человека и есть музыкальный инструмент; и пускай будут известны ноты (как написанная книга), но в твоих руках сыграть лучше: все зависит от тебя! Если в душе человека расстройство, то и звучащая музыка будет так же резать, как и игра на расстроенном инструменте; если же на сердце легко и радостно, то при игре на инструменте, при чтении прекрасные созвучия наполнят сердце миром и гармонией. Предоставляю в твои руки книгу, а какой мир возникнет пред тобою – зависит и от тебя, друг!

Несомненна трудность предприятия, на которое решился – не только облечь в слово, ясное и понятное (тебе судить, насколько это удалось), те мысли и образы, которые владели моею душою, но и найти ответный отклик в душе твоей! В первом сомневаюсь и сетую на слабое свое искусство и несовершенство стиля, взирая с трепетом и восторгом на иные произведения. Столько великих мастеров слова и знатоков человеческой души потрудились до меня, и столько трудятся, что опасаюсь, как бы мое картонное строение не рухнуло от легчайшего дуновения ветерка, и под его обломками не оказался бы сам автор. Во втором обнадеживаю

¹ *Lectori benevolo salutem* – (лат.) «Привет благосклонному читателю»

себя смелой уверенностью, что «Homo sum; humani nihil a me alienum puto»², а значит справедливо и обратное: и каждый, читая меня, будет читать свою душу. «Сколько людей – столько мнений», а потому уверен, что ты, добрый путник, откроешь для себя нечто интересное и полезное.

Могу лишь сказать, что затеял спор с самой судьбою, с самим духом нашего времени. Будь жив Цицерон, он неизбежно произнес бы сакраментальное «O tempora! O mores!»³ Времена переменялись. Переменялись и нравы. Но все так же бьется сердце, чуя рядом с собою, в буднях повседневности, присутствие иного мира, незримого, прекрасного; порою кажется, будто едва, на краткий миг, но прикоснулся к нему, ощутил его безоговорочную реальность, проникся его духом и уверовал! Все так же человек пытается разгадать величайшую загадку своего сердца и познать себя.

Хотел несколько слов сказать в оправдание, тем часом говоря о временах и нравах. Так, прежде чем историки и люди, более меня сведущие в истории античности и древнего Рима, закидают меткими стрелами, добавлю, что вовсе не имел целью воссоздать великую и противоречивую культуру Рима. Но, не претендуя на историческую достоверность, взял ее в качестве канвы, полотна, на которое легли бы новые краски. От истории, как таковой, по правде говоря, в нем не так уж и много осталось. Поэтому и не отношу роман строго к жанру историческому. Пожалуй, сравнить можно с тем, как писатель-фантаст, отталкиваясь от известного, берет Землю будущего и творит на ней свой собственный, придуманный мир. «Единственное отличие – во времени!» – заметит внимательный читатель, но не обманчиво ли оно само, как неуловимый метеор, когда оставляет за собой след и рисунок былого, мчась в неведомую даль?

Не помню, к сожалению или к счастью, тех давних времен и близко не знаком ни с одним великим мужем Рима, будь то Сенека или Цицерон. Но память о них, слава остались в наследство потомкам. И как живые, смотрят они на нас из глубины времен. А что же история? И в самом деле! Но истории неизвестно такое множество событий даже из прошлого века, не говоря уж о том, что происходило 2000 лет назад. А так ли уж сильно отличается тот, кто пишет о прошлом, от того, кто пишет о будущем? Да о прошлом ли эта книга? Тебе судить.

Что же, фантастика? Но хватает и размышлений, и лирических отступлений. Вот и получился жанр исторического романа-притчи, местами даже философского, и пусть тебя, мой друг, вовсе не пугает второе слово. Как говорил Цицерон: «О философия, вождь жизни!.. Ты породила города, ты созвала разрозненных людей в сообщество жизни».

Дорогой поиска истины шли и идут многие люди. Имена одних запечатлены, имена других неизвестны. Убежден, что неведомыми тропами, трудными и опасными, в нашем столетии пойдет еще большее число людей, думающих и ищущих. Об этом – книга. Есть замечательные строки певца востока Хайяма:

«Ад и рай – в небесах», – утверждают ханжи.
Я, в себя заглянув, убедился во лжи:
Ад и рай – не круги во дворце мирозданья.
Ад и рай – это две половины души.

На этом умолкаю. Пусть книга расскажет историю: рождается она по воле писателя, но дальше начинает самостоятельную жизнь. В путь!

² Homo sum; humani nihil a me alienum puto – (лат.) «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо» (из комедии Теренция)

³ O tempora! O mores! – (лат.) «О времена! О нравы!» (воскликание Цицерона в его речи против Катилины)

Часть I. Горькие корни

Глава I. Жизнь честных людей

«Люди дурные живут для того, чтобы есть и пить, люди добродетельные едят и пьют для того, чтобы жить».

Сократ

Была чудная зимняя ночь, и в воздухе стояло то особое ночное очарование – легкое и спокойное, кроткое и молчаливое, какое бывает не чаще нескольких раз за год. Когда все кругом вдруг смолкает и успокаивается, словно после буйного веселья. В мирный покой даже не сразу и верилось, несмотря на то что канувшие в Лету дни и предрасполагали к этому. После столь бурных Сатурналий⁴, что проходили с 17 по 23 декабря каждый день, такая тишина вовсе не настораживала. Народ отдавал дань почтения божеству времени и не упускал зазря даримое сокровище – минуты, часы и дни быстротечной жизни. И после обильных каждодневных вакханалий, шумных празднований и пьяных криков, гулянок до изнеможения и полного истощения как физических, так и душевных сил, наступало затишье. Пусть короткое, но от этого не менее ожидаемое, как и прибой не может всё время бить, но нуждается в отдыхе, дабы набраться новых сил.

Наконец-то улицы умолкли от людского гомона. Окрики случайных прохожих, которые ненароком забрели не в свой дом и выслушивали бранную речь хозяина, лишь изредка разрезали очарование ночи. Пьяное бормотание разобиженных бродяг затихало вдали, сопровождаемое словечками, которые не следует произносить в обществе не то что римских матрон, но даже в кругу просто приличных девушек. Изменчивое эхо напоминало о том, что город все еще оставался на месте, что его не стерли с лица земли разгневанные боги. Он покоился утомленный, и вечность сиянием звезд смотрела с мерцающей высоты.

Глухой отзыв кирпичных стен зданий стеснительно пронес монотонные шаги человека. Нелепо и как-то устало раздался звук из небольшой мастерской, что примыкала вплотную к римскому дому семьи Татиев и временами служила запасным выходом для патрициев. Чей-то угрюмый стан заслонил собой половину проема двери и немало б удивил всякого любопытного странника, посмеявшего нарушить тишину и уединение такой дивной ночи. Хотя ноги и часть туловища оставались внутри, скрываясь в беспроглядных тенях, переднюю половину самым бесцеремонным образом разглядывало ночное светило.

Селена в этот раз была особо благосклонна и явила свой лик беспокойному миру. Она заливалась румянцем от понимания своего могущества и безраздельного владычества. Ночная хозяйка прогнала тьму, но по-разному влияла на судьбы людей: могла воодушевить влюбленную парочку, что уединилась на склоне холма у реки. А могла и довести до отчаяния человека, который, крадучись, следил за недругом, думая, что тот плетет против него козни.

Небо укрылось густым слоем хмурых облаков: они заволокли плотной пеленой мерцающие искры жизни наверху, точно оберегали их тепло от пустой растраты; совсем небольшая прореха осталась в небе по велению богини, позволяя в полной мере наслаждаться созерцанием подлунного города.

Крепкие руки поделенного меж светом и тенью человека не укрылись от зоркого взгляда богини. Руки эти служили живым свидетельством его долгой жизни, полной труда и лишений. Была у них когда-то и бурная молодость: на них явно запечатлелись глубокие рубцы, что, как

⁴ Сатурналии – праздник, посвященный богу Сатурну

гранитный памятник, возвещали о перенесенных страданиях. Но среди боли в них отчетливо виделось трудолюбие, что, несомненно, служило признаком честной жизни: так говорили годы, проведенные на медном руднике с тяжелой ручной работой, смиренные и достойные, кое-как обеспеченные, поскольку денег не хватало на многое. Но, к счастью, на самое необходимое всегда находилась лишняя монетка. И в пожилом возрасте мужчина хорошо держался, внушая уважение даже в бедном, но не лишенном достоинства, одеянии.

Вот незнакомец распрямился, провел шершавой стороной ладони по дверному косяку, словно поглаживая и успокаивая встревоженное животное. А после оттолкнулся от смутного предмета, что таился в глубинах мастерской, и уверенно двинулся вперед. Прошло несколько мимолетных мгновений, и он оказался на улице, в пяти шагах от входной двери в мастерскую.

Улица впрямь была пустынной в этот глубокий ночной час, что и неудивительно – после стольких дней и ночей массовых гуляний! Хотя стоит солнечным лучикам засверкать из-за горизонта, как отсюда, с северной части Целиевого холма, потекут массы бедноты и обычного люда: клиентов и слуг, дабы покупать, ростовщиков и торговцев, дабы продавать товары и предлагать услуги, как законные, так и такие, что очутились вне его, но в которых, тем не менее, нуждалась та или иная прослойка горожан. Была ли то старая привычка или же таковыми были вкусы и требования к новой жизни – верным оставалось одно: спрос всегда удовлетворялся. И тогда Большой рынок, что расположен не далее, чем в полумиле от этого места, преображался удивительным образом. Настолько, что всякому незнакомому с этой обстановкой покажется, будто он попал в иной город со своими сводами законов, по большей части непонятными. А действие многих из них станет ощутимым лишь тогда, когда будет поздно что-то исправлять.

Но суета дня наступит не скоро: впереди еще ожидалось немало часов тишины и покоя, нарушаемых лишь демонами ночи, что летали в поисках очередной жертвы, доводя ту до безумия и сумасшествия. Однако рослый мужчина стоял в выжидательной, пусть и несколько осторожной позе, нисколько этого, очевидно, не пугаясь. И даже принимал свое положение с какой-то солдатской стойкостью, когда враг еще не виден, но уже всё внутри готово его достойно встретить, не дрогнув и не поддавшись страху.

Он осмотрел лежащие перед ним просторы. Выйдя с северных дверей, ему открылась улица с домами в округе, которые, обрисовываясь вначале явно, с четкими красочными контурами, затем внезапно таяли в кромешной тьме. Впрочем, ожидающий знал, что какая-то сотня метров – и улица оборвется пологим склоном холма вниз, ведь Большой рынок остался далеко на юге, а те пустыри, что лежали впереди, заселяли люди нередко с не совсем чистой совестью. Туда-то он и взирал, очевидно, ожидая чего-то или кого-то. Постепенно вглядываясь в темноту, глаза привыкли, и вот уже смело перебежали по крупным предметам и зданиям, различая отдельные их части, облицовку, архитектурные изыски. Но напрасно вглядывался он в густую даль: взгляд растворялся в однообразной черноте, и все попытки хоть что-то высмотреть в ней ни к чему не приводили.

Сколько времени пролетело, мужчина не знал – может, несколько минут, а может, несколько часов. Любой, кто хоть однажды долго ждал, забывая о времени, знает, что в таких случаях ум человека непременно прячется, как ныряет солнце за горизонт, сливается с окружающим миром. Куда-то теряется осознание себя, а воля человека томится от невыносимого бремени и засыпает, не в силах его одолеть. Правда, случается такое лишь, когда пассивно ждешь чего-то; иной раз сердце колотится, как бешеное, и пытается выпрыгнуть из груди, ежесекундно всматриваясь в мутную даль – тогда воля человека напряжена до предела, все его силы выстроены, как фигуры в шахматной партии.

Впрочем, похоже, такое напряжение не коснулось странно замершего мужчины. Чудно было, если бы прохожий счел его за скульптуру, поставленную перед дверью для украшения и привлечения посетителей. Но стоило лишь подойти поближе и заглянуть в глаза этой «скульптуре», как от неожиданности, смешанной с испугом, можно было отпрянуть на шаг, а то и вовсе

грохнуться на каменную дорогу, проходящую рядом. Эти глаза, – о, если б их закрыть, но нет, – они выдавали живого человека со сложным характером. Темные, так что ночью невозможно было различить их цвет, глаза, как крылья какой-то мифической птицы, жили своей жизнью: бегали из угла в угол, плавно переходили с одной черты местности на другую, зорко сверлили топь темноты.

Но что это? Где-то вдалеке, за углом одинокого двухэтажного дома, тьма, казалось, обрела какие-то смутные очертания. Неясное пятно стало раздвигать ночную тень, но не выбиралось на лунный свет, по-прежнему таясь во мраке. Там, где балконы нависали, как мост над бездной, там и кралась непонятная тень, словно преступник или заговорщик, мечтавший вернуть времена республики. А может, тень была обманом, и на самом-то деле там ничего и не было? После долгого ожидания помимо воли начинаешь что-то видеть, особенно, если ожидаешь увидеть что-то...

Впрочем, времени на размышления и досужие вымыслы не было, так как тихий мужской голос шепотом, словно подтверждая теорию о заговорщиках, произнес слова приветствия. И они, едва вырвавшись из тени, быстро потонули в сизой мути. Однако до того успели достигнуть слуха того, кому и предназначались. Мужчина, так долго стоявший неподвижно, бесшумно двинулся в густую тень, медленно, но верно, приближаясь к тому месту, где остановился и замер чей-то призрак, одаренный умением говорить. Наконец, мужчина подступил вплотную, вовсе не пугаясь видения, явившегося в такой час. И одним богам из преисподней известно, почему надо было встречаться в эту глухую ночную пору, а не при свете дня. Прошло всего несколько мимолетных мгновений, как эти фигуры уже удалялись в разные стороны, все так же осмотрительно. Шум их шагов стих, да и до того он был еле слышен; теперь же улица вновь погрузилась в молчаливую тьму, величие которой больше никем не нарушалось.

Первые рассветные лучи застали эти же места в ином расположении духа: город просыпался для новой жизни. На улицу высыпали какие-то люди. Некоторые в туниках – шерстяных рубахах с короткими рукавами, подпоясанные, по обыкновению, поясом, с большим напуском. Хотя их внешний вид был далек от приличного, что так кричало об их тяжелой жизни, гораздо красноречивей о том говорили их замученные, зачумленные глаза, охваченные огнем тревоги, беспокойством о повседневных делах и болезненной суетой в движениях и речи. Другие же были и того хуже: появлялись вовсе в каких-то лохмотьях, которые и одеждой-то назвать было сложно, с котомками и сумками наперевес, за плечами, в обеих руках; несли жалкие пожитки на рынок, пытаясь продать едва ли не последнее, за что еще давали ничтожные гроши; у определенной части не было и этого, кроме потрепанной бурями лет одежды, и они смело и даже с наглым видом, уверенные в своей правоте, отправлялись на подножки и ступеньки сената, требуя то ли милостыню благодетеля, то ли дань почтения от властей. Как само собой разумеющееся, всякий природный ум и одаренность, забытые и не востребуемые, не говоря уже о таланте, быстро заглушались и зачастую гибли в таких скверных условиях жизни. Их аккуратно хоронили, засыпая, как комьями грязи, ежедневной и привычной суетой. Талант, какой ни на есть, дарованный каждому по праву рождения, пусть и в зародыше, прозябал в беспросветной животной жизни и вел тоскливое существование, с каждым днем засыхая, как цветок, не знающий питательной влаги.

Но жизнь, вопреки господствующему мнению, не обладает аристократическими замашками. А потому и не выбирает определенные слои населения, дабы наделить только избранных тем, что позволяет человеку выделиться среди себе подобных, найти свою дорогу судьбы в жизни, обрести почет и значимость. Хотя для души, что познала истинные лишения и страдания, но сохранила свою совесть незапятнанной, а свободу души – не поработанной, для такой души ни почет, ни значимость не будут иметь особого значения. Равно как и той ценности, которую приобретают в глазах человека, привыкшего к хорошей жизни, не познавшего горя и бедности, окруженного вниманием ограниченного круга близких людей, их заботами и любо-

вью. В такой среде редко когда рождается беспокойство не то, что о других людях, обойденных вниманием судьбы, но и о своем крове.

Но смелые, стремительные умы, обладающие искрой духа, рождаются везде и повсюду. Их дальнейшая жизнь может складываться по-разному, вне зависимости от того, что им предназначено. Некоторые, попав в тяжелейшие и непереносимые условия, такие как вышеописанные, гаснут сами по себе. И не найдя того, что позволило бы преодолеть высокий, но посильный барьер, вырваться из той тесноты, в которую заточило их провидение, они умолкают. Они так и не достигнут просторов, которые позволили бы в полной мере раскрыться их свободолюбивому духу, обрести жизненный стержень. Стержень, который дал бы им силу преодолевать все более высокие препятствия. А вот другие, пройдя сквозь эти испытания, вспыхивают и словно попадают в горн. Закаляются и снаружи, и внутри, преодолевая то, что казалось невозможным преодолеть.

Такие люди сразу бросаются в глаза, стоит обладать лишь тонкой проницательностью и тем пониманием людей, которое присуще чутким натурам, нравственным, добродетельным. Хотя порой доходит до абсурда, когда такой дар благодаря долгому опыту обретают люди с не совсем чистыми намерениями, а попросту – с преступными наклонностями. Но и в этой абсурдности находилась своя прелесть, что так остро захватывала. Подобное чувствует, пожалуй, человек, заходя в клетку к неведомому зверю. И находясь в подвешенном состоянии, балансируя на грани меж жизнью и смертью, не знает, какой исход его ожидает. Не подзревая, кто окажется внутри – голодный лев или кроткая лань.

Немногие видят пламя жизни сразу, как рассмотрят человека. Этот огонек, медленно выплывая из неразгаданных глубин души, частенько прорывается наружу. Увидев его свободу, доверие и дружба возникают неосознанно, как теплая память далеких дней. Огонек – то не обычное пламя костра, и потому таким же способом в человеке он выразиться не может, но вместо того вспыхивает то в мирной и благородной внешности, то в сверкании глаз, когда кажется, будто внутри них трепещет под напором ласкового ветра нечто вроде огня духа. И таинственная сущность все разгорается, вырывается за пределы хрупкого тела и несется все дальше и дальше, завоеывая новые рубежи.

Хотя, бывает, что нередко под личиной огня скрывается коварный и хитрый человек. И добиваясь неотделимых от себя целей, прикрывается внешней формой. Но искреннее сердце не обманет ни тщеславный, себялюбивый или кокетливый огонек, ни блеск, сиянье и живость глаз: лживый обманчивый свет, который присутствует в душах низких и недалеких, что думают и беспокоятся о себе, не похож на тот священный небесный огонь, который зажигается мгновенно и пылает от чистоты побуждений и поступков, освещая любой мрак неземным светом.

Но как тяжело бывает разглядеть подобных людей среди той испорченности, лицемерия и разврата, от которого стонет и содрогается земля, терпя все унижения поистине с милосердием, материнской любовью и заботой. Хотя временами, надо отдать ей должное, мать мира теряет терпение и пытается привести в чувства непокорного глухого и слепого сына, идущего вперед, навстречу гибели, закостеневшего в неведении.

Утренняя прохлада и холодный воздух пробуждали к жизни всех без исключения обитателей этого квартала. Лица людей от пламени небесного светила открывались миру и оживали, отходя от тяжелого сна после нелегкого праздника, что закончился вчера. Простая речь входила в очередной день, служа проводником всего того, чем живет человек. Их облик и жесты многозначаче говорили об их нуждах: кто-то тянул пальцы в рот, дабы отупить чувство голода, которое по привычке охватывало каждое утро: с досадой смотрел такой житель на хмурые стены домов, словно в обиде на природу за такую нужду; кто-то смотрел на все мутными глазами, ища чем бы опохмелиться с утра, кто-то вовсю горланил то ли песни, то ли народные стишки, рожденные недавно в чьей-то голове, не отупевшей от механической жизни; две женщины среднего возраста, весьма располневшие и подурневшие, крикливо, нисколько

не стыдясь окружения, а уж тем более не заботясь о покое других, переговаривались: каждая высказывала все, что лежало на душе, о муже, так что, послушав несколько минут, можно было составить словесный портрет их благоверных. Порой они лаялись непристойными словечками на стайку грязных и немых мальчуганов, которые устроили какую-то активную уличную игру: путаясь под ногами прохожих и перебегая с места на место, они вскрикивали что-то друг дружке и столь же быстро отскакивали на ящик или бочонок, стоявшие по углам домов.

Вальяжно прошли два величавых господина, укутанные в аккуратные и чистые тоги, прошагали несколько солдат в воинственном обмундировании. То и дело кто-то из них нагло кидал бесцеремонные взоры на окно второго этажа дома Татиев. Чем-то примечательное окно располагалось намного левее открытой двери внизу, над которой красовалась вывеска «здесь располагается маслодавальня».

Через минуту прояснилось, почему солдаты так заглядывались в окно. На миг в нем мелькнуло лицо молодой девушки: она выставила на окно горшок с красивой инкрустированной вазой. По-видимому, часть поверхности вазы была зеркальная – от нее весело отражались солнечные лучики. Солдаты вскоре ушли, бросив прощальный взгляд на окно, но более не увидели милое женское личико. Их громкий хохот еще висел некоторое время в воздухе, когда с той же стороны, куда ушли солдаты, появился человек: столь же бедно одетый, как и окружающие, в тех же грязных тряпках, которые стыдно было назвать туникой, он сливался с толпой. Но что-то на первый взгляд неприметное сразу же обращало внимание всякого, кто обладал наблюдательностью. Что-то, что разительным образом выделяло его среди прочих людей, что-то необыкновенно-прекрасное. Гордость сквозила в его походке и взгляде, но не та гордость, которая заставляет презрительно осматривать нищего, что, стоя в самоуничижении на коленях, тянет в немой мольбе руки. Не та, когда смотришь свысока на окружающих тебя таких же, как и ты, людей. Не та, которая, чтобы почувствовать свою значимость и ощутить превосходство, унижает других. Но та, что убеждала и обезоруживала любого одним лишь отношением – почтительным, с пониманием и участием. Это была гордость, преисполненная чувства собственного достоинства и уважения, и такие же чувства рождала она в тех, кто с ней сталкивался. Гордость его жизни составляла неизменная готовность прийти на помощь людям, в ней нуждающимся, помочь словом ли, делом ли – не важно. А может, это была вовсе и не гордость: уж слишком походила она на скромность. Становилось ясно, что этому человеку хватало самоотречения и сочувствия, дабы сострадать другим людям и выражать живейший к ним интерес. Люди легко заметили бы доброе расположение, но, так часто погруженные в свои мысли и занятые своими заботами, они старались делать все, чтобы случайно не увидеть чужих забот и нужд. И это у них отменно выходило: и обращенная к ним сердечность и доброта не находили отклика. Именно поэтому этот человек, оставленный без должного внимания, как незаметный метеор, пронесся сквозь говорливую толпу к дому. Хотя походка и осанка и выдавали в нем человека необычайного, все же его одежда служила хорошим прикрытием, вводя в заблуждение человека ненаблюдательного, редко смотрящего дальше внешнего покрова.

– Астрей!.. – послышался еле уловимый призыв. Приятный молодой голосок прозвучал откуда-то сверху. Впрочем, его обладателя, а точнее, обладательницу, ибо это и в самом деле была молодая девушка-патрицианка, выглянувшая из окна лишь на пару секунд, подобно лучику среди хмурого неба, уже нельзя было увидеть.

И напрасно этот молодой человек поспешно поднял голову вверх, на то окно, где стояла пустая ваза: он не успел увидеть эту даму, звавшую его по имени. Хотя нет, все же не напрасно: сверху вылетело что-то белое и плюхнулось рядом на землю. Астрей не стал оглядываться по сторонам – заметил ли кто этот дивный случай или нет, а спокойно подобрал и мягкой поступью уверенно пошел дальше. Скоро след его пропал среди сотен других серо-каменистых туник, имеющих, по меньшей мере, одно неоспоримое достоинство: на фоне пыльных дорог они были неразличимы.

Астрей растворился в белом воздухе, как исчезает последняя предутренняя звезда под лучиками восходящего светила. А в этот час солнечные посланцы превратились в яркий дневной свет, и смело заглядывали на второй этаж дома, точно желая как можно больше прознать о тех, кто его населяет. Окно с пустой вазой, непонятно зачем и для кого оставленной на подоконнике, служило вратами для небесных странников, открывая путь в просторную комнату, предназначенную, по всему видно, для одного человека, а именно для неизвестной обладательницы приятного голоса; справа, возле стены, находилось роскошное ложе, облицованное в целом черепахой, а по бокам – обитое бронзой с затейливым рисунком: и форма, и линии, искусно высеченные в металле, притягивали взор. Особенно теперь, когда в новых постройках застенчивый свет падал в комнату не сверху, а сбоку; и все помещение переполнялось чудесным теплым приветом вдохновенного солнца.

Рядом с кроватью стоял небольшой деревянный сундук, предназначенный, по-видимому, для тех вещей, которыми приходилось пользоваться постоянно. Затем шел главный просвет комнаты, где ничего не располагалось, и от входной двери можно было прямо и без препятствий проследовать к окну в случае такой надобности. Слева же располагалось целое хранилище вещей: во-первых, довольно большой сундук, обитый декоративными накладками, – наверняка он вмещал немало предметов одежды и быта; стол все с тем же стилем инкрустации, что и остальные предметы в комнате, что, как видно, составляло общий план замысла, гармоничный и целостный. Интерьер мог удовлетворить самые изысканные вкусы этой особы: стул, покрытый декоративными тканями, несколько письменных принадлежностей; какие-то трактаты или сборники трудов современных писателей и поэтов (последнее более вероятно) занимали гладкую поверхность стола; кувшины разной величины, один больше другого, стояли в ряд на специальной треножной подставке; наконец, изящная подставка для ног завершала композицию предметов обихода. По самой обстановке можно было понять, что обитательница комнаты имеет утонченные вкусы, может даже, артистическую натуру, а может, просто любит быть объектом для поклонения – столько украшений внезапно замечалось то тут, то там. Как бы то ни было, подобная жизнь так отличалась от той, кипучей и суматошной, которая бурлила за небольшой толщей этих стен – стоило выглянуть в окно, и с трудом верилось, будто улица, этот дом, дивная комната являлись всего-навсего частичками чего-то большего. И внутри в этот час царил безмятежность, но такова уж натура некоторых людей, что к бедам и нуждам других они остаются безучастны, доколе сами не попадут в схожие обстоятельства.

Где-то недалеко раздался приглушенный стенами смех голосов. Затем последовала громкая и непринужденная речь какого-то уже немолодого, судя по выговору, мужчины. Последуем же за этим доносящимся голосом. Выйдя из комнаты через единственную дверь, можно очутиться на развилке: влево и вправо шел просторный, достаточный для трех не широких в плечах людей коридор. Впрочем, он обходил почти по кругу весь дом, спускаясь в некоторых местах на первый этаж, поднимаясь на третий, и выводил жителя этой городской усадьбы в домашние бани. Бани, или купальни, составляли гордость каждого знатного горожанина, склонного похвастать и показать себя в лучшем свете.

Но можно было их миновать и попасть в комнаты, обставленные совершенно по-другому – здесь располагалось домашнее книгохранилище. Уютная обстановка и многочисленные шкафы возле стен были забиты книгами: там стояли томики сочинений Петрония, Ювенала, элегии Тибула и Проперция, стихи Энния, Овидия, комедии Плавта, Публия Теренция, прозванного Африканцем, философские труды Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия и, конечно же, Цицерона. Собственно, такие слишком разнонаправленные произведения наводили на мысль о весьма несхожих литературных предпочтениях и мировоззрениях семьи Татиев: как остроумные народные пьесы Плавта не схожи с обличительной сатирой Ювенала, так любовные элегии Овидия, иронические и игривые, отличны от философских выдержек Сенеки.

Наконец, можно было спуститься на первый этаж и попасть в парадный зал со световым колодцем, или, как его еще называли, в атрий – единственное, что осталось от прежней архитектуры – да и то этот элемент сохранили по воле хозяев. Отсюда ход шел через просторные коридоры в столовую, или триклиний, традиционное место обеда еще с давних времен, согласно обычаям предков. Триклиний оказался просторной комнатой, имел несколько явных выходов и, похоже, один скрытый – подсказкою служила плотная занавеска, вышитая в восточном стиле и украшенная бисером: она иногда чудно колыхалась, словно под дуновением незримого ветерка. От нее веяло таинственными ароматами востока, и когда она чуть подымалась, то открывала какое-то углубление. И если бы не клочки темноты, что съедали всякие очертания, то было бы возможным разглядеть, что за ней скрывается.

Посередине комнаты располагался немалый стол, обитый медью и серебром, опять-таки с декоративными украшениями: их в доме вообще было столь много, что сразу становилось ясно – здесь живут люди из высшего света. С трех сторон стол окружали невероятно массивные на вид каменные лежа, покрытые дорогими тканями. С четвертой стороны стола, свободной таким образом, открывался проход для тех, кто обслуживал трапезу, служа хозяевам и гостям: и то тут, то там мелькали вольноотпущенники или рабы, впрочем, чаще всего – первые, поскольку о вторых с недавних пор приходилось забывать. Менялось название, менялась форма, но суть, та самая жестокая и откровенная суть – она оставалась прежней. Сюда подносили тарелки, меняли и добавляли отборные блюда с роскошными лакомствами, подливали вино, разрезали мясо, отдающее особым, лишь ему свойственным, ароматом – он наверняка бы свел с ума большинство из тех, кто слонялся в это самое время на улице в поисках пищи и крова.

Каждое ложе вмещало до трех человек, и как римляне любили повторять: «застолье должно начинаться с числа граций и доходить до числа муз», в трапезе принимали участие от трех до девяти человек. Обед – не просто время приема пищи, но важная часть жизни: всегда предполагал приглашенных гостей и общение сотрапезников, беседа ценилась неизменно высоко, именно поэтому обед в одиночку был редчайшим исключением и представлялся каким-то недоразумением или просто безумным стечением обстоятельств.

Сейчас в триклинии находилось шесть человек, возлегавших по двое на каждом ложе. Надо заметить, что верхняя поверхность лежа устраивалась слегка наклонно и повышалась в сторону стола. На нос было набросано довольно много разных, но с преобладанием зеленого цвета, тканей и подушек, которыми выкладывали верхний край лежа и, кроме того, отделяли место одного сотрапезника от места другого.

Люди, собравшиеся здесь, были крайне примечательными личностями – все вместе и каждый из них по отдельности: известные в своих кругах особы обладали такими разными характерами, что подобного разнообразия не встретишь и в лесу у зверей – настолько непохожи были эти люди! Левое ложе, если смотреть из входа, ведущего в атрий, занимали двое пожилых мужчин. Один из них, тот, что был ближе к столу, в это самое время что-то рассказывал остальным сотрапезникам:

– ...И надо же было такому случиться, что этот пронырливый юнец, дерзкий, как Меркурий, наглый и самоуверенный, как Юпитер, с лукавым видом и какой-то потрясающей манерой держаться в роковых обстоятельствах... Да, друзья, должен в этом признаться, преклонив голову: он потряс даже самого меня, как вы знаете, далеко не такого впечатлительного, как некоторые наши достопочтимые отцы-сенаторы, что боятся галльских имен и стараются выглядеть много строже на людях, чем в семье и кругу друзей; так вот, просто с какой-то одиозной торжественностью и азартом он бесцеремонно проследовал к месту голоса в храме Благодарения на Квиринале...

– Да будет со всеми нами благо отныне и всегда! – прокричал еще не знакомый нам мужчина на среднем ложе. – Но почему же не на площади в Капитолии, где всегда собирались трибунные собрания? Ответь же нам, добрейший и строжайший Маний!

Тот, кого называли добрейшим Манием, в свою очередь повернулся к этому человеку лицом и заговорил тем же низким и внушающим уважение голосом:

– Так и есть, Сервий, но тебе, по-видимому, не известно, что в тот день в Туллианум, мрачайшую тюрьму во всей Империи, мимо площади должны были свести заключенных – преступников, уличенных в заговоре против светила: несколько десятков человек, до того их держали под стражей в храме Юпитера Долихонского. Они надеялись возродить из небытия культ, набраться силы, и проводили обряды и мистерии, о которых, по счастливой предусмотрительности некоторых лиц, стало известно... А потому мы решили, дабы не оскверниться одним запахом этих нечестивцев держаться как можно дальше от них. Вот и все.

Дальше речь зашла о живописи: поневоле пришел на ум храм Благоденствия, красоты которого поражали всех, кто в нем побывал. Беседа вошла в спокойное русло, удалось отойти от политики и заговорить о ценностях, истинное значение которых было мало кому понятно из присутствующих, но все говорили о них с лицами знатоков, получая несказанное удовольствие.

Маний, трудяга, немного грубоватый пожилой мужчина лет пятидесяти, родом происходил из бедной плебейской семьи и заслужил сенаторское звание. Получив полномочия из рук самого императора пять лет назад, до сих пор считал эту милость самым главным достижением в жизни. Нередко он повторял, что это – его заслуга за настойчивость, ведь жизнь его была преисполнена кропотливого терпеливого труда на поприще закона, много лет состоял в звании судебного оратора, редко когда пропуская трибунные собрания. Был одним из винтиков юридического механизма Рима, разбирая все те уголовные и гражданские дела, ссоры, претензии, дела, связанные с наложением штрафа. Иногда, не будучи крайним сторонником честности и высокой нравственности, имел и для себя пользу с этих дел. Но в целом недурно выполнял свои служебные обязанности, выделяясь той осторожностью, граничащей с терпеливой строгостью, которая благодаря нескольким громким процессам и привлекла внимание не только самого властителя Рима и римского народа, но и многих завистников – таких же трудяг, как и он. В сенате он играл незначительную роль, находясь в конце списка, но внешне вполне довольствовался сложившейся жизнью и карьерой. Дальнейшего роста, очевидно, не предвиделось. И пребывая на пике успеха, он старался извлечь максимальную выгоду из своего положения. Впрочем, при всей кажущейся тугоумости, здоровяк, а Маний был высоковат и полноват как лицом, приобретшим округлую форму, так и телом, готов был зацепиться и вгрызться зубами в любое выгодное дело, если б таковое вдруг подвернулось ему под руку. Уж больно сильно было не удовлетворено его тщеславие, которое он так удачно скрывал за маской благополучия и доброжелательности по отношению к другим людям.

Его товарищ по ложу, до сих пор не проронивший ни слова – он был занят тщательным смакованием фиников из серебряной миски, – лишь делал вид, что внимательно слушает, доверительно кивая головой в знак согласия, хотя эта тема ему была и неинтересна. Невзрачного худощавого телосложения, среднего роста, со сверлящими глазами, – одно это отбивало охоту у прекрасного пола знакомиться с ним ближе, чем полагалось приличием. Но его, похоже, такое отношение нисколько не задевало, и мысли его пребывали где-то далеко отсюда. Может, он старался проследить за тем путем, в который отправлялись финики после их исчезновения с тарелки, а может, и вовсе думал о чем-то потаенном, таком, что было известно лишь ему одному. Но как бы там ни было, кроме того, что его звали Авлом, большее нельзя было узнать.

Среднюю ложу занимали два человека. Властный вид их, хозяйский, сразу бросался в глаза: это – главные лица нынешней трапезы. В кружке людей, объединенной под одним кровом для обеда, всегда находятся личности, которые одним присутствием и непререкаемым авторитетом задают настроение и ход всей беседы. Они расставляют интонации и даже направляют

бег мысли каждого из собеседников. Такие люди запросто могут внести оживление в унылое собрание редко видящихся гостей, разрядить обстановку, повести за собой; могут придержать слишком зарвавшихся, указав им их место одним только словом, а то бывает достаточно и взгляда. Понятно, что неприметно они становятся душой и сердцем коллектива, и отсутствие их слишком чувствительно: так, они могут присутствовать, но быть немногословными, а вот исчезновение их способно убить любую беседу, и остальное время пройдет в томительном ожидании.

Первый, рослый и крепкий, статный мужчина в полном расцвете сил, молча возлежал, подпирая подбородок рукой. Строгие, как у учителя риторики в первых классах школы, губы его не двигались. Глаза, по мере развития разговора о живописи, начали смягчаться, становиться гостеприимнее и добродушнее. Да, Валерий Татий Цетег, римский гражданин тридцати девяти лет, был не просто уважаемым сенатором в сенате, но и гостеприимным хозяином в своем доме. Карьера его складывалась удачно: он успел в прошлом году побывать эдилом, успешно обустроив тогда Римские игры, проходившие почти целый сентябрь. И в семейной жизни Валерий мог считать себя счастливым человеком: красивая и гордая жена его, Лусия Лабием, была патрицианкой – из известной и славной семьи Котта. Она подарила ему двоих детей: Авлу было восемнадцать, еще была дочь – двадцатилетняя Аврора.

Компанию за ложем отцу семейства составлял Сервий Деон, человек располагающей внешности, с теплыми глазами, хотя, подобно Валерию, он придавал взгляду властность. Но это было сильнее его: за долгие годы привычка стала второй натурой. И он так хорошо приспособился к окружению, что в часы досуга не мог отвлечься и стать иным. А окружали его по долгу службы серьезные и суровые люди, ведь он служил префектом, начальником полиции. И занимая такую важную должность, следил за порядком и законностью в районе Авентина, как раз там, где находились храмы Юноны, Юпитера Долихонского, Дианы, но, конечно, главной достопримечательностью, куда стекался весь народ, выступал Большой Цирк. Он располагался в тесной близости с его постами, а это значило, что после очередного представления с него вытекала уйма подозрительных личностей. Все они тут же разбредались по городу, по домам, харчевням и тавернам, и продолжали празднование прямо на улицах, разыгрывая недавно увиденные сценки, еще живые в тускнеющем воображении. Сервию каждую секунду приходилось быть настороже и успевать следить за всем. Так неужели же стоит удивляться, что этот, еще молодой – лет тридцати, мужчина с крепкими руками и атлетическим телом привык смотреть на людей, как на потенциальных нарушителей спокойствия. Его красивое лицо, что оставалось загадкой для многих – а он побывал не в одной передраге, – с зоркими глазами, будто возвышалось надо всеми, изучая и осматривая, точно ожидая худшего поворота событий. Хотя, в сущности, во многом он был прав: спокойствие так редко бывает там, где люди. Если простить этот небольшой недостаток, к чему многие, кто хорошо его знал, давно привыкли, то тогда Сервий представал в совсем ином свете: как человек, уважающий честь и достоинство других, он ценил высшую общественную мораль. Его твердый несгибаемый характер был верен древним обычаям старины и не мирился с текущим положением дел, пусть время от времени и давал трещину. В общем, лишь по какой-то прихоти судьбы он оказался в рядах префектов, служа новой власти и новым порядкам. Но веря в судьбу и предназначение, смиренно выполнял свой долг.

О живописи Сервий знал немного, если не сказать обратного: ничего не знал, кроме одного – кому-то подобные сценки нравятся. А потому и сидел он с видом благодарного слушателя, с трудом пытаясь понять суть беседы.

И, наконец, правое ложе занимали две прекрасные дамы. Сходство в чертах обеих бросалось в глаза: одинаковые контуры лица, манера поведения, даже мимика в чем-то похожая; все это однозначно убеждало в их родственной связи. Действительность от предположения далеко не ушла: это и были мать с дочерью – Лусия и Аврора.

Что касается матери, то Лусия в свои тридцать шесть выглядела все еще привлекательно и соблазнительно: и впрямь можно было задуматься о том, а так ли преувеличенны и надуманны слухи. Впрочем, какая знатная матрона, часто появляющаяся в обществе, могла избежать этих гнусных подозрений? То и дело всплывали слухи о любовниках, молодых ловеласах, покоренных ее красотой, обходительностью, опытностью в амурных делах и, на что всегда делался упор, богатством. Надо заметить, что, поскольку в семье Котта больше не было прямых наследников, ей приходилась немалая доля состояния. И многие из ее знакомых не даром надеялись на то, что и им перепадет кое-какое количество звонкой монеты.

Лусия была довольна свободой жизни: из-за частой занятости мужа в работе сената весь досуг целиком принадлежал ей, и она могла распоряжаться им по своему усмотрению. А потому не сильно и досадовала на то, что муж настолько горел работой, что на остальное у него не было ни сил, ни желания.

Глава II. Красота и гармония

«Идеальная красота, самая восхитительная наружность ничего не стоят, если ими никто не восхищается».

О. де Бальзак

Аврора была той самой девушкой, которую и приметили в окне солдаты. Она спустилась со второго этажа и незаметно присоединилась к трапезе, пожелав всем приятного аппетита.

Девушка, стоило лишь бросить на нее взгляд, поражала своей изумительной, поистине неземной красотой, захватывала дух. И если здесь собрались мужчины много старше ее, то в кругу знакомых и ровесников она пленяла и притягивала к себе все взоры. Едва неосторожный юноша оборачивал голову в ее сторону, как просто замирал, не смея ни шелохнуться, ни заговорить. Оставалось одно: с обмиранием сердца наблюдать, как эта земная Венера с высокомерным видом шествовала мимо, удастая мимолетным взглядом, да и то лишь краешком глаза, чтобы насладиться его обескураженностью. О, какой смертный подумал бы в этот счастливый миг, что он достоин богини? Разве она не так же недостижима для него, как изумруды ярких звезд на ночном небосклоне? Она так же дарила свет и надежду тем путникам, что бодрствовали и любовались ее незабвенной прелестью. Как можно было не подумать этого, взирая на нее?

Аврора обладала потрясающей фигурой, подлинно божественной и обольстительной как формами, которым позавидовали бы и грации, будь они способны на это чувство, так и тем следом, что оставляла за собой: в воздухе еще долго реял дурманящий аромат.

В этот чудный день Аврора надела белую тунику до пят и с рукавами, аккуратно выкроенными и тщательно подогнанными. Видно было, что туника умышленно пошита для нее, поэтому она не могла скрыть всех достоинств фигуры, как бы ни старалась. Впрочем, ей доставляло это немалое удовольствие, равно как и пылкие разговоры среди почитателей ее красоты. А последних было немало: юноши самых знатных родов претендовали на ее руку.

Аврора не была обделена вниманием. Скорей наоборот: когда появлялась в общественных местах, то все мужские взоры немедля, словно по мановению волшебницы, жадно обращались на нее: все старались ей услужить, доставить приятное, развеять занимательной и остроумной беседой. Стройностью Аврора превосходила и березу, и тополь; изяществом и царственной походкой, по-видимому, обладала от рождения. В этом ей могли позавидовать многие из знатных и признанных в высоких кругах матрон. Притом она никогда не была подобна механизму, раз настроенному и запущенному в действие. Ее походка отличалась высокой степенью артистизма, гордости и импровизации. Она удачно меняла стиль своей ходьбы, подбирая его то под какой-то определенный случай – торжество, прием у знатной особы, – то под собственные мысли и настроение. Последнее, надо заметить, отличалось поразительным непостоянством. И каждый раз она воплощала задуманное с неподражаемым искусством. То она плыла грациозно и величаво, как лебедь по нежной лазури озера, сознавая свое очарование и неповторимость: тогда она манила и влекла; и решительно ни о чем нельзя было думать, кроме как следить за отточенной плавностью движений, за волнительным изгибом фигуры, преломляющейся в утреннем свете в нечто идеальное и совершенное. То шла трагической походкой, как человек, подавленный ударами судьбы, с трудом сохраняя свою силу, юность и красоту. И тогда этот трагизм граничил с чем-то героическим, что приводило в смятение дух, поднимало за облачные высоты сердце. Во всех черточках ее появлялось нечто такое, что заставляло проникнуться благоговейным и трепетным состраданием, уважением и братской любовью к этому человеку. Собственно, так она и завоевала большинство друзей среди высокопоставленных лиц. Иной раз она бежала с чистой детской радостью, искрясь и лучась, неудержимо, стре-

нительно. И заражая жизнелюбием и азартом всех кругом, дарила веру и надежду на лучшее будущее, и, быть может, даже с ней – так она сохранила не одного и не двух отчаявшихся поклонников. Те разочаровывались в возможности счастья, но, видя ее таковую, вновь начинали верить в свою удачу, хотя по-прежнему ничего, кроме пульсирующей слабым огоньком дружбы и отношения, не имели.

Аврора, лучезарная и восхитительная Аврора, была энергичной девушкой, умеющей зажигать сердца. Родись она мужчиной и получи должное воспитание, из нее вышел бы отличный полководец, одаренный великим талантом. Кто знает, вдруг такой человек повел бы за собой в бой во славу Империи преданных воинов, готовых с честью и мужеством отдать жизнь за своего предводителя? И римские серебряные орлы воспарили бы над многими варварскими землями. Как бы там ни было, Аврора родилась женщиной, притом немисливо прекрасной, но это не мешало ей быть в некотором роде предводителем – мужских сердец и судеб.

Ее лицо каждый представит себе сам: соразмерно со своим вкусом и понятием о прекрасном, и при этом не сильно ошибется. Удивительно, но, воплощая в себе отдельные рисы и черты индивидуальной красоты, которую в ней находил каждый мужчина даже с разными представлениями, она все же имела нечто такое общее – красоту и гармонию, что находило отклик у всех вне зависимости от личных предпочтений. Такими лицами, наверное, должны были обладать и богини любви: не имея одного лица, каждому человеку представляясь по-своему прекрасными. Каждый видел красоту, что отражала его личные пристрастия. Вот что можно сказать в общих чертах о портрете Авроры.

Теперь можно вообразить, насколько счастливым должен был чувствовать себя тот человек, которому она отдаст предпочтение. Поразительно, но она была безумно одинока, имея такое число поклонников, готовых исполнить ее малейшие прихоти и желания. И как ужасно глупо ошибались те молодые люди, ища любопытным, завистливым взглядом ее избранника, лишь одним этим объясняя неокончательные, дающие надежду, отказы, которые позволяли продолжать мечтать о взаимности и думать, что избранник чем-то ей не угождает, и им не миновать разлуки.

В это время беседа перешла на изобразительное искусство и живопись дома Татиев. Отец в который раз начал долгий разговор. Конечно, он был по-своему увлекательным, но когда слышишь его в первый, а не в десятый раз. Вновь и вновь Валерий упоминал и тут же раскрывал глубокий символизм, скрытый в покрытых мрамором стенах, от чего те ярко блестели и золотились под лучами солнца, мозаике, выложенной на полу, во фресковой живописи и многом другом. Так что Аврора, услышав знакомую речь, со спокойной совестью чуть отвернулась и развернула записку.

Лусия не подозревала об одиночестве дочери из-за собственной, страшно бурной жизни. Увидев, что дочь погружена в чтение послания, из осторожности поинтересовалась: тот ли это молодой человек или опять очередной поклонник? Сама Лусия в молодость свою любила насмехаться над подобными любовными записочками и смеяться над ними, читая их с подружками. Она и до сих пор не изменила свой нрав: уж сколько раз вот так нечаянно она оскорбляла чувства дочери. Оправдывалась она тем, что у нее – почтенный возраст, и меняться ей поздно. Вот и сейчас, заглядывая через плечо дочери, она таинственно шептала на ухо той всякие колкости, которые казались ей смешными. Знала бы она, какой ураган чувств сейчас бушевал в груди независимого ребенка, не привыкшего делиться с ней чувствами! Вообще же, Лусия полагала, что ей, такой умудренной годами и полученным образованием, знатной и богатой даме, не повезло с детьми, и, чтобы снять с себя ответственность, как делало большинство ее знакомых, и почувствовать себя свободной, винила во всем другого. Этим другим по роковой случайности оказался ее муж. Но вслух вымолвить слова обвинения она не смела и при нем не поднимала даже взгляд. Держа все в себе, матрона предоставила истории развиваться своим ходом.

Сам же муж, вечно занятый политикой, ни о чем подобном и не догадывался: впрочем, он совсем не уделял внимания воспитанию детей: Авл ударился в какие-то недоступные людскому пониманию мечтания, стал малообщителен и словно жил в каком-то выдуманном мире, отрешенном от этого; из-за этого ему тайком приписывали слабоумие, но порой он блистал такой сообразительностью, что заставлял краснеть от гордости всех учителей. Кроме того, Авл слыл большим поклонником учения Зенона. Можно сказать, что стоицизм был у него в крови. Кажется, он всё и вся находил внутри себя и потому мало интересовался окружающими людьми и настоящей жизнью, с одинаковой невозмутимостью принимая как радость, так и горе. Неуверенность, столь привычная повседневности перед туманным будущим, ему, похоже, не была знакома. Он был спокоен, как всегда, и с готовностью принял бы и последовал любому родительскому решению. А поскольку Авл был единственным сыном в семье, то Валерий возлагал на него определенные надежды. Но возлагать можно любые надежды, а вот сбудутся ли они – в этом как раз и сомневался отец семейства.

Аврора же, напротив, казалась беспечной и безмерно веселой, ни о чем серьезном не задумываясь. И проживая жизнь в свое удовольствие, ничуть не смущала этим более нравственного отца. Как тот ни старался и детям привить умеренные взгляды, научить науке морали, но то ли времени всегда находилось меньше нужного, то ли умения, но это ему не удалось. И оба – и сын, и дочь, – ударились в крайности. Мать спасалась от головной боли, вина мужа, а отец, в свою очередь, винил политику и невозможность воспитать добронравных детей в распушенном мире.

Будучи женщиной в полном смысле этого слова, Аврора не могла без особого трепета читать полученное любовное письмо, целиком и полностью посвященное ей. В нем обожествлялась ее красота, вознося на яркое небо, безумно далекое и неприступное, и это ей страшно льстило. Автор письма умолял снизойти до роли обычного смертного, незавидной и печальной.

– Какие слова, какой полет, ты только вдумайся в это, моя милая дочурка! – шептала ей на ухо ее мать. – Вот посмотри:

«... и тогда отныне я буду рабом ваших желаний и ваших страстей, предугадывая каждую вашу мысль, ловя каждое брошенное случайно или намеренно вами слово, хрустальный взгляд и легкое движение, о, недостижимая царица моей любви! Будьте моей, а я буду вашим! Лишь вы обладаете всей полнотой власти надо мною, и только в ваших силах растоптать свет моей любви, вьющийся, подобно лозе спелого винограда, как на моей загородной вилле, которую я вам преподношу на открытых ладонях! Чистосердечно надеюсь на вашу ко мне благожелательность, вы можете разбить на мелкие осколки мозаику моей души! Она целиком посвящена служению вам: отныне и до скончания веков! Но и в ваших же силах возвысить мое ноющее сердце, подарить ему прекрасной любвеобильной ручкой надежду на новую жизнь, на безмерную радость! Тогда она горным ключом забьет в моей замороженной плоти, устремившейся вслед за духом, который десятилетиями искал вас! Наконец, к счастью, которого еще не было ни на земле, ни на небесах, я нашел вас! Тогда, когда уже, было, начала теряться даже сама надежда на это, когда начала угасать жизнь в моем теле, лишенная живительной влаги любви, этого целого мира, который вы подарили мне, обратив на меня свой нежный, милый лик; вы увидите, как...»

Далее Лусия не читала, поскольку заинтересовалась тем, что вдруг начало происходить в триклинии. Воздух накалился. При таком устройстве лож и столов в комнате, надо сказать, царил страшная теснота, что вовсе не охлаждало ни беседу, ни воздух: скученные люди, разогретые едой и вином, непрестанно потели. И предостерегаясь от простуды, которую было так запросто подхватить, укутывались в особые накидки, наборы которых носили название синтезов. Плотнo укpываясь, можно было сберечь тепло внутри, а холодный воздух – снаружи. Накидки ярко раскрашивались. Интересно было порой наблюдать разнообразную цветовую гамму: сдавалось, что свет забавляется так, творя радужные пятна и переливы. Триклиний

пестрел, и по цветам можно было многое узнать о тех людях: их предпочтениях и вкусах, скрытых наклонностях, даже о том, о чем они и сами не подозревали. Правда, сейчас здесь не было такого изобилия красок: мужчины, в основном, были в синтесах с преобладанием коричнево-желтого тона, что было естественным цветом овечьей шерсти, хотя и не без некоторого изыска. Так, Маний и Сервий имели накидки с красными и фиолетовыми оттенками, а Валерий блистал переливающейся россыпью серебра.

Один Авл смотрелся скромно и даже убого, если сравнить его собственное одеяние с накидками окружения. Впрочем, настоящая скромность, ранее так ценившаяся и служившая признаком чистоты нравов и следования исконным традициям предков, встречалась все реже и реже и была в глазах людей скорее убога, чем величественна. Хотя по доброй традиции (а все мигом обретает репутацию «добра», если ему начинает следовать большинство) люди прощали такие причуды: как нечто, ставшее ненужным, но привычным. Будто бы ради того, чтобы души то ли чувствительные, то ли консервативные могли остаться с прежними нравами как с поношенной туникой – уже и не греет, но мила, если с ней связаны трепетные воспоминания.

Аврора же и Лусия были преимущественно в накидках цвета такого невинного и зеленого, какой имеют листочки ранней весны, молодые и мечтательные: им еще предстоит пройти пору расцвета и заката, жизни и смерти, чтобы затем через год вновь блеснуть изумрудным нарядом. Чтобы как прежде, но с новой силою, распалить в сердцах людей вечные, как мир, чувства и волнения, надежды и мечты.

Бутылка добротного вина, разлитая вольноотпущенником Фруги по серебряным кубкам, разошлась в мгновение ока. Ликование и добродушие охватило всех. Неукротимое веселье вспыхнуло, подобно искре темной ночью в костре: как только один зажегся, так и заразил всех. И вот разросся лесной пожар, перекидываясь с ветви на ветвь, с одного дерева на соседние, полностью завладев умами и сердцами почти всех участников трапезы. Всех, кроме Авла, едва его пригубившего, и Авроры, погруженной в чтение необычайно длинного и волнующего письма – оно кружило голову, быть может, не хуже кубка самого крепкого зелья. Те, кто знает это чувство – наверняка поймут.

Валерий как участливый зритель пытался вникнуть в речь Сервия, который вдруг начал рассказывать о своем недавнем ночном приключении во время службы. Деон убеждал, что во время празднеств люди хватают через край смелости; ведь они вынуждены ее скрывать в забывчивом свете дня. А Маний твердил ему, что толпа подобна скотине: надо лишь знать, как ее запрячь. И вдруг, совершенно неожиданно, в разговор ворвался спокойный и твердый голос Авла. Окатить собеседников холодной водой с ушата – это и то вызвало бы меньшее удивление и негодование. Раздалось шипение, будто вода поглотила в мутные глубины несколько только что выкованных, еще раскаленных и пышущих жаром, клинков будущих мечей:

– Так что же все-таки случилось с тем пронырливым юнцом, о котором ты упоминал час тому назад, Маний? И главное: как его звали? Вся эта история кажется мне дутой!

Куда подевались разом веселье и смех? Всё вокруг стихло и погрузилось в гнетущую тишину. Маний умолк, и весь покрылся багровыми пятнами недовольства и раздражения: внутренне он негодовал и метал молнии, как разгневанный Юпитер на своего нерадивого слугу. Но его обычная сдержанность и осторожность, натренированные годами стойкости и выдержки, и на этот раз не подвели: он не издал ни звука, ни пылкого слова, ни резкого движения, преступного в этот миг. Лишь лицо его стало похожим на котел с похлебкой, стоящий на костре; Лусия с Авророй и без того были немногословными собеседниками сегодняшней трапезы; Валерий замер оттого, что не услышал следующей фразы от своего давешнего друга: они не расставались с самого детства. Бывало, еще совсем мальчуганами, озорными уличными разбойниками, они стремглав носились по улицам и, представляя себя героями, полководцами-победителями, вели свои всесокрушающие воинства на орды мнимых варваров – голубей, дерзких воробьев и прочих мальчишек. А Сервий замолк на полуслове, обратив

внимание на лицо Маня после вопросов Авла – в таких простых по своей сути словах, он, с пронзительностью, свойственной исключительно стражам закона, заподозрил неладное. Но никто не подметил ни сверкающих глаз самого Авла, вошедшего в священный пыл – тот, что иногда находит даже на людей скрытных и молчаливых, когда какая-то несправедливость задевает слишком глубоко, ни острого взора Валерия, который хоть и замер, но продолжал ловить каждое движение своего сына. Так памятники старины внимательно внимают деяниям своих потомков, оценивая их поступки. Но было в этом и еще что-то неуловимое, какой-то оттенок смутного страха, предчувствия грядущих бед.

Аврора, вся погруженная в себя, даже не заметила того, что стряслось: внутри нее звучала небесная мелодия. Тишина нагрянула внезапно. Она была так схожа со штилем на море перед решающим гневом стихии, когда вся природа затаилась, словно в ожидании того, что должно последовать дальше. Девушка тихонько привстала со своего ложа и незаметно для всех, даже для матери, прилегшей рядом, выскользнула из триклиния. Не прошло и пары минут, как она бросилась на ложе в своей комнате, теребя послание в руках.

Дремота овладела ею, как могло показаться со стороны: закрытые глаза, мерный подъем груди, как бы спящее дыхание. Хотя на самом деле в это время она напряженно раздумывала над своей судьбой и жизнью: благодаря велениям неумолимого рока в ее распоряжении оказалась целая толпа поклонников. Жалела она лишь об одном: что этот рок не научил ее настоящей любви. Что она не увидела ту волшебную страну, куда мечтала попасть с того самого мига, когда познала и поняла: близость – это вовсе не та любовь, которую желала. Ее душа взывала к чему-то более возвышенному, утонченному, высокому, и в поисках таких чувств она встречалась со многими, но никак не могла найти того самого, кто бы стал объектом ее рвущейся на свободу чистой любви. И этого никак не могли знать родители, считавшие свою дочь уже втянутой в это развращенное роскошью и благополучием общество, слишком давно не испытывавшее потрясений.

Только гулкой удар встряхнул бы это невероятно сонное царство столицы Империи. Люди шли в будущее по раз намеченной колее и продолжали решать новые задачи старыми способами. Но мир изменился, и старые способы не действовали в новых условиях.

Пролежав так несколько десятков минут, не понимая, почему долетавшие сюда громкие голоса звучали на мажорный лад, Аврора потянулась, как при пробуждении. Теплота приятно обволокла ее тело. Бросив на сундук бумажку, она подошла к письменному столу и решила воскресить в памяти недавние события...

Глава III. Ничто не вечно под луною

*«Человек самовлюбленный – это тот, в ком глупцы усматривают
бездну достоинств».*

Ж. Лабрюйер

Ночь выдалась на редкость спокойной. В доме стояла полная тишина: все после обильной трапезы, затянувшейся далеко за полночь, спали мертвецким сном; на улице повымирали все те ночные бродяги, что привыкли выть, горланить свои пьяные песни, ругаться и драться из-за пустяков даже в холодную пору, видимо, согреваясь таким образом. И зимний ветерок, завывавший все утро, весь день и весь вечер, наконец-то замолк. Аврора не приняла участия в трапезе, начавшейся еще около пяти часов вечера, сославшись на плохое самочувствие. Зато хорошо отдохнула, и в этот глубокий ночной час ей спать вовсе не хотелось. Кроме того, она до беспамятства обожала эти редчайшие секунды одиночества: никто не одолевал ее своим навязчивым обществом, никто не молил о свиданиях, не беспокоил якобы “дружескими” визитами.

Одиночество и общество всегда были двумя крайностями, между которыми разрывается человеческая душа. Каждая из них несет неудовлетворение своей жизнью, чувство, что судьба решила жестоко пошутить, либо забыв, оставив прозябать наедине с собой, либо бросив в самый омут, водоворот эмоций, когда все, кажется, происходит вокруг и ради тебя. Так и получается: то совершенно лишен возможности общаться с людьми, дружить и любить их, сопереживать и делиться. И весь мир кажется тусклым, серым и безжизненным: чем-то далеким, что не имеет права называться словом «жизнь», когда хочется просто забиться в свой уголок, свою скорлупу, подобно устрице. Не вспоминать ни о ком, не жалеть, что и о тебе не вспоминают, смириться со своей участью – это единственное, что остается, но и это не уменьшает страдания. То мир вдруг взрывается, наполняется событиями, и дни, недели, месяца пролетают в одно мгновение. Кажется, что прошло несколько лет, да и самого себя чувствуешь намного старше, чем на деле: столько всего успеваешь пережить, испытать, что многое, даже более существенное и значимое, чем кажется на первый взгляд, попросту проходит незамеченным, притупленным. Изможденный разум утомляется, слабое внимание рассеяно ловит блики света, и память не в силах переварить такую пищу. Вот тогда начинаешь искать спасение от этого мира, придумывая все новые и новые уловки, лишь бы выгадать хотя бы несколько минут тишины, покоя, одиночества. И в том, и в другом случае человек просит, даже сам того полностью не сознавая, противоположности. Начинается дивная игра на качелях: мысль человека улетает то в одну крайность, то в другую. Достигая какого-то конца, доступного для той силы, с каковою ум раскачался, человек вдруг понимает, что это – зло, что это неправильно, и стремится к прямо противоположному, но уже с меньшей силой. Достигает того конца, убеждается, что и там не лучше, и снова поворачивает...

Вот и Аврора в эту ночь отдыхала и телом, и душой от общества других людей, лишь в этот глухой час ночи обретя желанный покой. Она завидовала тем паломникам и аскетам, что находили общество и близость природы предпочтительней обществу и близости людей. Она села возле окна на стул, обитый декоративными тканями, предварительно положив на него мягкую подушку, и укрылась накидкой: сквозь открытое, хоть большей частью и занавешенное окно вползал холодный зимний воздух. Но вместе с тем насколько ж протрезвляло это!

Молодая девушка заняла выгодную позицию: сквозь небольшую щель, куда не доставала занавеска, ей были прекрасно видны пустые улицы, освещаемые лунным светом. Ночное око тоже играло: то озаряло все без ложной стыдливости, сдергивая таинственное очарование полумрака, то вновь погружало мир в непроницаемую тьму, получая от этого явное удовольствие.

Это время уединения было ей жизненно необходимо. Она была подобна цветку, который все время поливают водой, но, как цветок гибнет от обилия влаги, так и она погибала от этого нескончаемого внимания, поклонения, почитания, обожествления и обожания. Девушка пыталась понять, почему ей никак не удавалось найти то счастье, которое, она была совершенно в этом уверена, давала настоящая любовь. Настоящая любовь, а не то чувство, что чувствовали к ней большинство почитателей ее красоты: они могли видеть лишь внешнее, даже не пытались понять внутреннее. Впрочем, она все же была смущена, думая о двух юношах, таких небезразличных для нее – не в сравнение с остальными. Трудно было понять то чувство, что она питала к ним, еще трудней – то, что они значили в ее жизни. Именно этим она и занималась, когда послышался какой-то шум на улице, почти прямо под ее окном.

Высунув голову и ничего не разглядев, Аврора решила, что это ей почудилось: так всегда бывает, когда слух приравнивается к окружающей вокруг тишине, и, путая ум липкими догадками, выдает внутренние звуки за внешние. С ней нередко случалось такое, что иногда, в полной тиши, она слышала не только ритмичный стук сердца, который можно в привычной спешке не замечать неделями и даже месяцами, но даже ощущала биение крови, бегущей по жилам.

Звук не повторился, и Аврора несколько успокоилась на этот счет. Покорительница сердец других, она не могла разобраться в своем собственном, сколько ни сравнивала образы этих двух столь не схожих юношей. Один слыл многообещающим в политической карьере; оборотительный красавец, загадочный Деметрий: скрытный и знатный – как она любила его именовать, и такой же молодой – всего на год старше ее. Другим был высокий двадцатитрехлетний юноша, которого звали Квинтом. Если первый и казался загадочным, то второй – был воплощением тайны: за все время встреч с ним ей почти ничего не удалось узнать о его личной жизни. Как ни томилась она от осознания этого, все же что-то удерживало от разлуки, и напротив – тянуло к нему: стоило только вспомнить его лик. Иногда глаза его загорались неземным огнем истины – казалось, он проникал в самую суть вещей. Какая-то печаль одолевала его по временам, какой-то выбор, принятый в жизни, – но что это был за выбор, куда он вел, – она и не догадывалась.

Женщина погрузилась в какое-то сонное оцепенение, думая о своей странной судьбе и еще более непонятной будущности, когда до ее слуха донеслось какое-то слово, вспыхнувшее среди тишины и быстро угасшее. Ей почудилось какое-то движение на улице, и Аврора, хорошо владея своим привлекательным телом, немного подалась вперед, достаточно для того, чтобы увеличить обзор и недостаточно, чтобы ее можно было заметить или услышать. Две фигуры, хоть и прятались в тени, были хорошо заметны отсюда: зрение у девушки было преотличным, зоркостью не уступая орлу. Она успела заметить, как один человек, тот, что стоял дальше, сунул в руки другому, кого-то ей напоминавшего, бумажку. После чего они разошлись в разные стороны, причем второй неспешной твердой походкой приблизился к почти тому самому месту, над которым располагалось окно; сомнений быть не могло – внизу стоял Фруги, сицилиец, слуга еще деда Авроры. Хотя слугой-то он был формально, давно став членом семьи: часто обедал вместе за одним столом, шутил, разделял беды и счастье. За услуги и преданность ему сдали на бессрочное пользование таберну – часть домуса, наглухо отделенную от жилой части дома. По сути, то было пустое место между комнатами, что выходило на центральные помещения италийского домуса – на цветник, внутренний дворик-сад, или, как его называли сами римляне, перистиль, и атрий, сердце жилища. Фруги жил вместе со своей семьей: женой, давно не молодой и не красавицей (хотя по некоторым чертам еще можно было вообразить себе ее былую цветущую красу), и девятилетним сынишкой – смышленным не по годам. За сообразительность Валерий взял его под свое покровительство и отдал на обучение в частную школу, куда тот уходил ранним утром и откуда прибегал поздним вечером.

Это небольшое ночное происшествие ее сильно заинтриговало, и сон, навеваемый невеселыми размышлениями и свежим воздухом, как рукой сняло. От новизны сердечко радостно забилося, ожидая приближение неизвестного. О том ей настойчиво шептало женское чутье – эта необычайная пронизательность, наблюдательность и поистине мистическое чтение чувств и мыслей, дарованное природой. Прошло не так много времени, как догадка подтвердилась: раздались приглушенные шаги, будто кто-то пытался ступить легко, но это у него не выходило, и шаги казались неуклюжими и громоздкими. Через секунду раздался шум, и что-то белое, тонкое, проскользнуло под дверь. Звуки шагов отдалились от комнаты, растворившись в молчании ночи. Аврора осталась наедине с таинственным посланием.

Подобрать письмо, развернуть его и сесть к окну – было делом одной минуты. Отдернув занавеску, она на долгое время залюбовалась ярко-белой луной. Попыталась, было, разобрать строки, выведенные красивым почерком, но вскоре оставила безуспешные попытки: ничего, кроме начертания букв не удавалось разобрать. А почерк-то был знакомым: нередко письма с такими четко вырисованными литерами ей подносили то уличные мальчишки во время прогулки, то письмо влетало в окно, как дар небес, то его подносили служанки – сами при этом они ничего не могли сказать вразумительно. Но ни разу до этой ночи послание не попадало к ней из-под двери. Один вид этих причудливо изогнутых буквочек, составлявших ее имя, грел сердце в этот ночной час.

«Аврора, нежно любимая и трепетно ожидаемая, восторгаемая и незабываемая! Обращаюсь я к тебе вновь и вновь, переживая в памяти обрывки наших волшебных встреч, обрывки судеб и чистых надежд, что ненароком смел я возлагать к твоим стопам, однажды вдруг посмеив мечтать, скорбеть, печалиться и ждать, что в тьме суетных ночей, тоскливых вечеров и одиноких дней, твой стан, словно в тиши колокольчик звенит, однажды вдруг вступит в дом ко мне, – велит так сказать тебе совесть моя, мой разум и сердце, что бьется день ото дня лишь для тебя! Лишь для тебя...

Скажи мне возгореть – сгорю, скажи мне умереть – умру, но лишь не говори мне «нет», подобного ответа в природе просто нет: где есть начало – есть конец, где есть конец – там новое начало; закончив прошлый путь, где мы ступали по земле раздельно, начнем мы строить новые ходы, которые ведут неведомо куда, но знаю лишь: там и здесь – нас отделяет только слово «да». Такое короткое, такое утвердительное, такое легкое! Произнеси его скорей! Ведь время, словно скарабей, – закружит голову и тело очарует, бельмо на глаз поставит, свет так исказит, что черное вдруг станет белым, а белое преобразится в тень, – ту тень, что за тобой ступает, меняет позы, лица и тела, и выраженья глаз, и звезд сверканье, – все это – лишь его одна черта, его мгновенья, где до дна все разлетится в пух и прах, где вдруг минута обернется целым годом, а час же и того – на жизни срок вдруг претворится! Я жду тебя от вечности ночей, я ждал тебя так долго, терпеливо; смиренный путь, дорожку проложил, не бойся, милый друг, ступай! По ней! Она надежна и крепка, гибка, как ветка ивы, что голову над озером склонила, упруга, словно твоя молодая кожа, что заставляет нас, мужчин, бледнеть, бледнеть, но лишь от созерцанья совершенства я ощущаю райское блаженство, которое тогда нисходит на меня! Зачем, зачем скажи, богине красоты ты служишь – она изменчива и неверна: сегодня так лелеема и важна, а завтра так коварна и близка, потом – смертельна и ненастна, и так всю жизнь – и без конца?! Но лишь богини так беспечны, все думают они, что вечны! Ничто не вечно под луною: и наша жизнь – моя с тобою!

Хочу увидеть я тебя – мечтаю так я день из дня – хочу узнать твои уста, хочу познать твои цвета, желаю сердце подарить, глаза пленить, душу сроднить, хочу я вечно быть с тобою: хочу узнать твои года, хочу пропить с тобой до дна все радости любви и трепет ожидания, стремления надежд и мук взысканья, пленительный чертог познания, испить всю грусть и те страдания, что избежать мы не сумеем, где нам не скрыть с тобой рыдания, но буду рядом я всегда, и защищать тебя – моя мечта!

Готов я силы все постичь умом и телом – тебе в мой храм врата открыть – не словом – делом!

Я буду ждать тебя всегда: когда зима, когда весна, но точно я скажу: вчера явился мне Амур крылатый, везде летал – искал, божок проклятый, искал те узы, что удержат здесь тебя. Искал и вдруг нашел! Сказал, что это здесь: любовь моя! А то, что проклята она – то мне сомнению не подлежит – ведь знать тебя, стонать и грезить, и лавры воздвигать, все делать, лишь бы взгляд один, пусть мимолетный, но стяжать – вот в чем мое проклятие, священное и неземное платье, что сшил я для тебя, что положил, что ждет тебя, когда ты соизволишь хоть взглянуть... Приму за честь!

А та здесь явь, и вымысла здесь никакого, что завтра утром ты на подоконник одну из ваз своих поставь, в которой пусто будет, если надо подойти, цветы в которой – прочь идти. И если ваза вдруг пуста – посланник явится тогда: ты перебрось ему письмо, когда, где встретиться мечте, где снизойти твоей судьбе, где вознестись в порыве страсти, где встретиться тебе и мне, о, возвести меня, молю тебя, о, я несчастный!

С мечтою о тебе, Квинт».

Наступило утро, когда Аврора закончила дописывать ответ, воздавая должное труду молодого человека и обещая встречу через неделю, когда она будет гостить у родственницы – матроны Пристиллы, родной сестры отца, которую часто несправедливо обходили вниманием в семье, подчас вовсе забывая об ее одиноком существовании. Аврора никогда не могла с этим примириться и понять: почтенная женщина отличалась добрым и располагающим нравом, умела создать уют и благодушное настроение. У нее часто собирались на обед знакомые и друзья, которых она с неизменным удовольствием и радостью принимала.

Читатель помнит, что было дальше: пустая ваза на окне и необыкновенный юноша, унесший в даль послание сердца.

Глава IV. Посланник

«Только бы нам и одетыми не оказаться нагими».

Павел

Парень, шаг за шагом, неуклонно отдалялся от окон Авроры, унося с собою котомку с папирусным свитком, на котором стилем было написано долгожданное для кого-то послание.

Умные глаза, чудилось, все понимали и прощали, внимательно и с интересом осматривая мир. Они будто светились каким-то тайным знанием, которое доступно всем, но принимается единицами: простые истины бытия всегда труднопознаваемы.

Судьба этого юноши на самом деле была необычайна и удивительна даже для повидавших чужеземные страны и диких смелых путешественников. В свои молодые года он успел побывать почти во всех уголках Средиземноморья, узнать быт, научиться подражать диалектам и оттенкам языков с впечатляющим искусством. Его случайные учителя находили ученика талантливым, способным и восприимчивым, а уж то, как он смело и с легкостью брал самые трудно выговариваемые фразы, повергало тех в глубокий восторг; таким образом, за какой-то десяток лет странствий этот юноша, бывая в портовых городках разных стран и нигде не задерживаясь подолгу, познал то, что не каждый познал бы и за всю свою жизнь, отмечая при этом всякую ложную скромность. Цель этих путешествий являлась полной загадкой для тех, кто его знал: прежде времени он не хотел ее раскрывать. А в том, что цель эта была, не могло быть никаких сомнений: отвага и смелость в нем не сочетались с авантюризмом и бездумностью.

Именно поэтому была уверенность, что путешествия эти не носили случайного характера. Города, страны, обычаи и взаимоотношения целых народов, заботы отдельных людей – все это кружилось в вихре времени. Легко представить, какого склада человека могла сформировать подобная среда, если он взрослел в ней и рос. Легко представить и... легко ошибиться: заблуждение подкарауливало тут же, выжидая лишь миг, когда кто-то увлечется внешней стороной. Главная ошибка как раз и заключалась в том, что видимое лежало на поверхности, выделяясь подобно кроне высокой сосны среди кустарников и рощиц, но сколько оставалось сокрыто в тех самых рощах – и вообразить было трудно! А корни всего зачастую лежали именно там, в глубини, аккуратно сокрытые от посягательств любопытных глаз.

Молодой паренек со светлыми глазами, будто дышал добром и теплом зимнего солнца, бодро шагая к цели. Дорога была не такая близкая, и он вспоминал прожитые года. Они не были легкими и безоблачными, как у более счастливых ровесников. С раннего детства судьба повернула к нему одно из самых немилосердных лиц: он страшно рано, еще будучи совсем ребенком – в возрасте всего восьми лет, лишился своих родителей. И, может быть, эта утрата не была бы так болезненна для него, если б это стряслось раньше, в пору безмятежного счастья, когда весь мир велик и прекрасен – и кажется, что так будет продолжаться всегда. Но он запомнил своего отца, трудолюбивого рыбака, смело выходящего в море на своем утлом суденышке даже в непогоду; а по временам родитель бывал в качестве грузчика в доках Остии, портовом городке, расположенном совсем неподалеку от Рима к юго-западу. Запомнил свою мать, уважаемую и добродетельную женщину: она была так кротка и терпелива к людям! И в нужде сохраняла человеческий облик и доброе отношение, так что любой знал: в случае беды он мог смело обращаться к ней. И не стоило опасаться быть выпровоженным за дверь с миной неудовлетворенного желанья помочь. Она всегда делила со страждущими и последний кусок хлеба, и последний кусок ткани для туники, если старая совсем пришла в негодность. О, как тяжела ноша знания и ноша чувств! Успеть узнать и успеть осмысленно полюбить... и так быстро, так неожиданно потерять близкое сердцу родное существо!..

Но это только придало ему мужества, закалило характер, и он спокойно принял волю судьбы и желание богов; так случилось, что он не обозлился на мир, на людей, которые не смогли помочь его родителям, когда те так отчаянно нуждались в этом. Он так и не узнал всех подробностей, кроме того, что они пали жертвой чьей-то злой власти, что они оказались вовлечены куда-то помимо своих желаний и за общую неудачу заплатили самую высокую цену. Но ничего более конкретного он не выведal у немногочисленных свидетелей той давней драмы. Да и последних становилось с каждым годом все меньше и меньше.

Он шел, доброжелательно улыбаясь прохожим. Мало кто обращал на него внимание, считая его, по-видимому, одним из тех безумцев, которые сошли с ума и не помнят своего несчастья, не знают своего безумия, не имеют никаких мыслей в голове, а потому являются безобидными простачками, годными лишь для увеселения площадной толпы в дни празднеств. А улыбаться в этом мире всем встречным могли одни лишь безумцы или святые, что далеко не каждый отличал, путаясь и принимая одного за другого. Люди проскакивали мимо, поглощенные важными заботами. Никто так и не удосужился заглянуть в его умные глаза, его живое, дышащее красотой и здоровьем, лицо, его аккуратно уложенные волосы. Казалось, он обладал даром незаметности, будучи сам наиболее заметным.

Так, миновав улицы, заросшие домами, он добрался до неприметной на первый взгляд тропы. Спускаясь со склона холма, она огибала храм Исиды и Сераписа, и вела на север – к возвышению, затем переходившему в склон эскивелинского холма. Но так далеко не было надобности идти. Здесь, среди широких просторов теснились бедняцкие хижинки. Долина между холмами, как весеннее поле, было засеяно ими до такой степени, что, если подняться на пригорок и перевалить через него, то можно было ненароком свалиться на чью-то крышу.

Странник выискал несколько, около пяти-шести лачуг, что вплотную прижались друг к дружке, точно пытаясь согреться. Небольшие участки земли, окружая дома там и сям, сейчас, в зимнюю пору, пустовали, но в лучшие времена здесь наверняка можно было собрать обильный урожай – как никак, прокорм для хозяев.

В ответ на его уверенный стук дверь мягко отворилась. За ней открылось большое пространство, в разных местах оно пересекалось перегородками и кирпичными стенами, образуя комнатки для жильцов. Кое-где прямо из земли росли кусты вечнозеленых трав, аккуратно ухоженные и, видимо, тщательно стриженные. Хитросплетения зелени составляли диковинную композицию: в ее чертах можно было угадать какие-то незнакомые буквы. Целое слово затаилось на полу, неся отпечаток символичности и значимости. Юноша вошел в дом странных жильцов.

– Заходи, Астрей! Я ждал тебя со знанием и верой, как и любой римлянин знает и верит в то, что завтра солнечный диск, ведомый златогривыми конями Гелиоса, вновь выкатится на небесную тропу, вновь озарит радостью новую жизнь; я знал и верил... знал, что это событие непременно случится, если на то будет воля небес; верил, что ты придешь и принесешь благую весть, – приглашая войти, воскликнул радушный хозяин (то, что открыл хозяин, было видно по всему: и по осанке, и по виду, и по жестам) этой необычной группы домов, внешне различных, но внутри составлявших одно целое.

– О, терпение твое не знает границ и безмерно, как суровый океан, несущий благо и добро тем, кто его понимает, суровый и строгий с теми, кто заслуживает этого, – ответил Астрей.

– Принеси же щедрый дар своему Нептуну, смелый моряк! – лукаво и с блеском в глазах улыбнулся хозяин.

– Я вижу чистый лучезарный свет в твоих глазах, мой друг! Он наполняет мое сердце радостью. Но что же я испытываю твою сердечность? С моей стороны это тяжкая вина.

Хозяин закрыл дверь и вместе с гостем проследовал в глубь дома.

– Вот же оно, – с этими словами Астрей извлек из котомки письмо и бережно передал его из рук в руки, – верю, что оно несет радость!

– Да, Астрей, именно такой и должна быть настоящая вера! Зачем же верить в то, что несет не радость и свет, а печаль и тьму? Ведь то, во что мы горячо верим, обязательно воплотится в жизни, а иначе и быть не может – и наши усилия и терпение в деле столь важном обернутся явью!

Они прошли в комнату и удобно устроились, сев на дубовые стулья, сделанные с любовью; веселые узоры и линии на спинке обращали внимание и заставляли задуматься, равно как и непонятная зелень на полу в передней.

Астрей расположился почти рядом, видимо, не чувствуя никакого смущения или неудобства от того, что может помешать чтению письма с таким личным содержанием. Впрочем, даже при большом желании он бы не смог помешать: хозяин дома погрузился в странное состояние, держа глаза полуприкрытыми. Постороннему наблюдателю этой немой сцены могло показаться, что человек за столом напрочь забыл о существовании всего огромного мира, уединившись в своем, прекрасном и неповторимом. Хозяин, человек крепкой наружности и с рассудительными глазами, не обращал более ни малейшего внимания на присутствие рядом другого человека. И так, точно у него не было тайн от друга, развернул свиток и погрузился в чтение.

Глава V. Под толщею земли

«Мужество есть презрение страха. Оно пренебрегает опасностями, грозящими нам, вызывает их на бой и сокрушает».
Сенека

Мимо мелькали кирпичные стены домов, такие дикие и привычные, они пестрели надписями и рисунками непристойного содержания. Строгие подписи призывали голосовать за всем известного римлянина: в очередной раз теми же обещаниями новое лицо обещало заботиться об интересах своих избирателей; пронеслись яркие зазывающие таблички таверн, питейных и прочих мест, где можно было развлечься или забыться, провести досуг в служении Бахусу или Венере. Прохожие ошарашено уступали дорогу, едва успевая сообразить. Их странный взгляд летел вослед, удивленный и напуганный.

Улицы становились все грязней, покрывались все более плотным слоем различного мусора – нетленных следов жизни людей. Воздух становился труднопереносимым, головная боль и помутнение в глазах были ничем в сравнении с тошнотой, которая подступала мокрым тяжелым комом. И нет ни малейшего желания описывать весь тот смрад, который здесь стоял, воздух, насквозь пропитанный дурными пороками, людей, сидящих в уголках с ничего не выражающими или безумными взглядами. От отчаяния никуда нельзя было деться – оставалось только призывать и молить о забытии как о единственном спасении.

Переулочки между домами становились все уже: вся грязь Рима, казалось, сосредоточилась на улочках Субуры, где проживала большая часть городской бедноты. Казалось, что попал в зловонную темницу, и последний лучик света и тот испустил дыхание в ржавых кандалах. Скорей! Скорей пронестись сквозь эти застойные ямы – яркое подтверждение того, в каких условиях приходилось здесь жить людям. Разве могла здесь жить надежда на лучшее будущее, разве это похоже было на обитель веры? Да и какая могла оставаться вера у тех, кто давно продал своих друзей, близких и родных, продал и самого себя, и свою душу? И за что? За кусок черствого ржаного хлеба, который был не по зубам и животным. Но напрасно те выискивали чем бы поживиться, чем продержаться в себе еще хоть на денек огонек жизни: в этом рассаднике грязи и болезней искорка чрезвычайно быстро гасла. Опасность подстерегала здесь на каждом шагу, но исходила не от болезней или голода, а от человека. Законы разума здесь не имели силы, и над всем стояла природа, вознаграждая сильных. И какая борьба здесь велась! Борьба за жизнь, а право гордо именовать себя римлянином существовало где-то в ином мире, за пределами голодных земель, где сливались все народы в одном желании: в настоящей охоте! И у охотника не было права на промах, ибо он лишался самого драгоценного в случае поражения, что только могло быть у человека. Об этом запросто забывалось среди роскоши и житейских благ, среди благополучия и беззаботного существования. Нет, это было не ярко блестящее на закате золото, не струящийся поток мелодичного серебра, не должность и не звание, не почести и не награды, не сытные трапезы, не изысканные наслаждения театра или гладиаторских боев, не поэзия Гомера и даже не любовь прекраснейшей девушки на свете или самого храброго царственного влюбленного! Нет! Не всего этого, а гораздо большего – Жизни! Жизни, которая и включала в себя все это, но не являлась этим. Она была неприметна, когда части становились целым, но обретала истинное значение, когда все лишнее уходило, меркло. Значение, которое смутно чувствовалось, витало в воздухе, но как же недостижимо оно было теперь!

Проносья по этим местам, от непривычки в голове блуждала единственная мысль: поскорей бы выбраться отсюда на свежий воздух, где можно было бы вздохнуть полной грудью и не заматывать рот куском туники, скорей покинуть помойку загубленных душ. За эти мгновения забывалось обо всем: о цели, о том, куда и зачем бежишь... Перестав соображать,

просто бежишь опрометью, тело работает само. И перед глазами проносятся дымчатые картины: дорога, поворот, опять дорога, люди, запахи; никому не нужный перевернутый ящик, битые кувшины; дети, смахивающие на каких-то зверенышей, норовят то ли сбить с ног, то ли стащить что-нибудь дорогое; опять поворот дороги, и дома, дома, сплошные дома по бокам, грязь, духота и одичалые глаза людей...

Но все что имеет начало – имеет и конец. Правда, если потом оглянуться назад, то можно не поверить, что все закончилось: и кажется, что все вычитал в книге, все приснилось в кошмаре и происходило не с тобой, а с другим человеком где-то в совершенно ином месте; и с тех пор беспощадные пески времени занесли страшные места. Лишь предательская память шепчет: «Да, это было именно с тобой и именно тогда, и именно там!». Как порой мечтаешь о том, чтобы забыть такой вот кусок своей жизни! Но забвенью доступно лишь богам: только одни они могут воспользоваться этим сокровищем – по своей воле забывать и вспоминать места, события прошлого и встреченных на накатанной дороге жизни людей.

Тибурская дорога, внезапно сверкнув вдаль, осенила надеждой, почудилась путем к спасению. Страшные улочки остались позади. Но они не будут забыты теперь никогда, и в эту минуту беглец понял: от преследования не спастись. И каждый раз придется вздрагивать от одного лишь тусклого воспоминания. Таково уж свойство человеческой памяти: она чересчур разборчива и предпочитает запоминать именно то, о чем человек хотел бы помнить менее всего, что счел бы за счастье забыть, но нет!

Как часто бывает, что за мгновениями трогательной радости и счастья идет размеренное существование. Время, кажется, утекает бессмысленно. Жизнь проходит, и из пережитого останется, не погибнет лишь то светлое чувство, которое согревает сердце. И когда ничего иного не остается, оно хранит надежду и смелость смотреть в будущее в ожидании чего-то, что выходит за пределы будней. Хочется прожить золотые, светлые дни, утерянные навсегда, чтобы они вновь и вновь захватывали настоящее. Вновь хочется познать ту радость жизни, что уносит в безбрежные дали, когда краски мира, звуки и запахи становятся необыкновенно острыми, когда они напоминают безмятежное детство, даруют радостное забвение. Благодать снисходит с порывом ветра. Спокойствие наполняет сердце, и верится, что исполнятся самые безумные мечтания отчаянного юношества.

Но вот опять все закончилось, и жизнь потекла своим чередом. И через несколько дней, недель все кажется невозможным и заранее обреченным, нелепым для той реальности, в которую попадаешь после ночи мечты. Безумный сон обрывается, а ведь это все было!

Так нет же! Память, словно в назидание нам, спешно прячет прожитые мгновенья счастья, будто играясь. Как дразнят, бывало, маленького ребенка: покажешь забавную игрушку, он смотрит с широко открытыми глазами, всем своим юным существом выражая безмерное любопытство; спрячешь за спину, и с невозмутимым видом возглашаешь: «А уже ничего и нет! Это надо заслужить хорошим поведением! Будь хорошим, прилежным мальчиком и получишь это!». И верх насмешливости Мнемозины, этой придирчивой богини памяти, – это дать вкусить человеку все «прелести» прожитых страданий и перенесенных ужасов, которые оставляют след на всю оставшуюся жизнь. И как бы ни стремился человек поскорее забыть – не удастся! Таково уж людское счастье, или вернее, несчастье – заново перекручивать до мельчайших подробностей сцены из ушедшего навсегда прошлого. Но прошлое никогда не уйдет окончательно: оно может забиться в потаенные уголки души, ожидая своего часа, но не покинуть уютную обитель. А при случае захватить врасплох жертву, чтобы напомнить о себе самым бесцеремонным способом, и такое нередко происходит в самую неподходящую пору жизни.

Облако свинцовой пыли вихрем поднялось в воздух, по дороге застучали сандалии стройной ножки, женственной и красивой даже в этот миг. Поспешен был этот бег, порывист и тревожен: слишком тягостные волнения и события ему предшествовали.

Таинственная беглянка беспрепятственно пересекла дорогу: в этот ранний час все было еще тихо, и только зарево рассвета провозвещало новый день.

А между тем в промежутках между домами заблестели мраморные колонны, отражая лучи утреннего солнца. По мере приближения грандиозное здание стало все четче обрисовываться. Это был древний храм продолговатой формы: сверху он напоминал вытянутый в длину неправильный прямоугольник, и его слепящие своды обдавали теплом и беспричинной радостью. Еще издали ощущался дух храма: наверняка в нем не раз божества благословляли римлян и принимали подношения. Но достоверно судить об этом мешало одно обстоятельство: храм был заброшен и ни одного смертного нельзя было усмотреть ни в окрестностях, ни возле самого храма. Глубокое одиночество сквозило и в самом облике здания: кое-где не помешало бы восстановить истертые временем своды. Бросалось в глаза и то, что окружало храм – густая растительность, пусть и обледеневшая от дыхания зимы. На подступах царил полный природный хаос или гармония, смотря с какой стороны посмотреть, так что пробраться вовнутрь, по ступеням, заросшим кустарником, было не так просто.

Девушка замерла, сомнения одолевали ее. Но даже в миг тревоги вера не покидала ее; и благородная осанка, великодушные глаза ее внушали почтение. Так, высокая душа, преодолев земные страдания, замирает в предчувствии нового этапа жизни, и трепет охватывает ее и на какой-то миг сковывает желания и устремления.

Прождав так несколько минут, юная чистая душа успокоилась, насколько это было возможно. Решимость вспыхнула, как лучина в костре, занялась пожаром сердца. И направив стопы к ступеням, ведущим в храм, отважная девушка стала продираться сквозь непроницаемые заросли кустарника. Твердый от зимнего холода, он до крови царапал, прорезая тонкую туннику. С трудом добралась она до входа и оперлась одной рукой о массивную колонну. Тяжелые своды нависали сверху, грозясь вот-вот обрушиться, стены все испещрены рисунками злаковых и культурных растений. Были тут и виноградные лозы, которые, казалось, готовы были обвиться вокруг утомившегося путника, защитить и скрыть его от любопытных глаз, напоить, чтобы беды скорее забылись; здесь же были нарисованы и амфоры различной формы; были и сценки из жизни обычного сельского труженика. Прочие витиеватые рисунки были неясного смысла, но, наверное, повергали глубоко верующих людей в благоговейный страх и трепет – тогда-то и рождались столь важные под всяким божьим сводом почтение перед неведомой силой и осознание собственной немощи.

Но не об этом сейчас думала беглянка: в другой руке она держала кусок пергамента, на котором были высечены символы и образы, не имеющие ничего общего с латынью. Она раздумывала и вслушивалась в тишину. Удивление заставило ее забыть о боли. Это был запах – хорошо знакомый: пахло человеком. Людской запах для тонкого чутья столь же разительно выделяется, как восковая табличка на черном дубовом столе. Чувствовалось, будто бы люди побывали здесь всего несколько часов тому назад, самое большее – день. Это придало силу и вернуло надежду: растерянность, которая охватывает в роковые часы жизни даже смелые и отчаянные натуры, покинула ее.

Помимо неопределенности девушка изнемогала от усталости – изнурительный бег совсем ее вымотал. Но только теперь почувствовала, когда утомительное возбуждение и волнение прошли, уступив место спокойствию и взвешенным мыслям.

Собрав всю волю, она превозмогла себя и, сверившись с листиком, пошла к дальнему портику⁵ – строгим рядам колонн, четко проступавших на фоне природы. Пересечь довольно таки немалое расстояние оказалось бы сущим испытанием для расстроенных нервов любой девушки, пережившей те же события, что и эта беглянка. Чудилось, что вытерпеть столько горя, сколько вынесла эта девушка, не сможет ни одно страждущее сердце.

⁵ Портик – крытая колоннада вдоль стены

Каждый шаг отдавался в помещении гулким эхом, как будто капля в полном молчании падает с высоты человеческого роста на пол в стакан холодной воды и нарушает гармонию тишины, принося самобытную жизнь – жизнь движения.

Внутри было едва-едва видно, так как, по замыслу архитекторов, помещение освещалось искусственно. По крайней мере, так могло быть раньше: все необходимое было заготовлено: свечи, диковинные канделябры. Алтарь в середине, уготованный для жертвоприношений, и рядом стоящая урна, предназначенная для даров богам (чтобы молитвы просящих быстрее достигли их ушей), выглядели сейчас дико и гротескно. Но девушка прошла спокойно, как уверенно катит свои волны широкое море, – такую выдержанность и твердость характера в подобных условиях могла выказывать только по-настоящему самоотверженная и чистая натура, что ставит благо другого человека выше своего.

Добравшись до портика, девушка опустилась на колени и по памяти начала отсчитывать ладонь расстояние от колонны, выбранной явно не случайно. В некоторых местах приходилось менять направление, в итоге, отойдя от колоннады шагов на пять-шесть, девушка замерла и положила обе руки на мозаичную плитку. После нескольких безуспешных попыток расшатать, ее удалось подцепить ногтями с краю и отодвинуть вбок – обладательница хрупкой фигуры была в превосходной форме. Под плиткой оказался металлический рычаг: углубленный в пол, наружу он выдавался лишь стальной рукоятью. Порывистый перевод его в горизонтальной прорези – и какой-то скрытый механизм запущен. Что-то застучало, задергалось, а потом послышался тяжелый шум возле только что покинутой колонны.

Прошла минута, как девушка осторожно спускалась по витой лестнице в кромешную тьму. Впрочем, свет здесь был и не нужен, разве что для тех, кто ступает впервые: ступени были цельные, твердые и сухие, шириной в плечи человека крепкой наружности, длиной в три ступни юной девы, спускающейся в неизвестность. Притом с обеих сторон на уровне рук были надежные стальные перила, так что вероятность несчастья была сведена к минимуму. Хотя для большей решительности свет бы не помешал, но его отсутствие здесь было, видимо, преднамеренным. Незваная гостья правильно сообразила, что это сделано из предосторожности: отблески могли пробиться из-под храма, указав случайному посетителю на присутствие тайны. А еще от сотворения мира тайна, как бы она ни была опасна для жизни, заставляла человека выяснять все до конца.

Спуск длился минут пять, а ступени все не заканчивались, как вдруг далекий звук заставил девушку вздрогнуть и замереть на месте. Всем сердцем чувствовала она приближение конечной цели своего вынужденного путешествия. Веяло холодом подземелья, но не было того неосознанного страха, липкого и пугающего, когда оказываешься в подобном месте. Напротив – нисходило чувство умиротворенности и защищенности, тепло обволакивало каждую часть тела, и радость пробивалась, точно первый подснежник, – будто попал к старым знакомым, друзьям, самым близким людям. И ни о чем больше не надо беспокоиться, зная, что тебя примут с распростертыми объятиями и открытым сердцем, недоступном коварству, злу, хитрости и лицемерию.

Впереди блеснуло что-то яркое, как ласковый луч далекой звезды, выхватив из черноты конец стены с закругленными краями. Туда вела все более и более различимая тропинка на полу. Оказывается, пол каменного подземелья был вымощен плитами разного цвета (хотя сейчас и трудно было разобрать, что же это были за цвета – все виделось оттенками черного и серого), формы и размеров. Свет все более и более пробивался – мерцающий, таинственный, он то затихал, погружая все в полумрак, то разрастался, освещая все вокруг и давая пищу глазам. Но, несмотря на свою непонятную природу, он вовсе не казался подозрительным или враждебным.

Подойдя к грани – рубеж между знанием и невежеством, девушка решительно шагнула вперед. Затаив дыхание, шла она, чуя приближение неведомого. Много ожидала она увидеть,

ко многому была внутренне готова, но та картина, что предстала очам ее, заставила позабыть и себя саму, и весь тот мир, что остался позади. Есть такие удивительные явления в мире, которые повергают в неземной восторг, когда, кажется, что ты сливаешься, растворяешься в той красоте, которую довелось увидеть. Как часто человек, к сожалению, ходит с закрытыми или полузакрытыми глазами, лишая самого себя необычайного дара. Не замечает ту красоту, что создает природа или человек, или сообщая, что в очередной раз подчеркивает, как тесно человек, маленький мир, связан с великим миром. И готова его принять в свое лоно вся Вселенная красивого, со звуками, образами и символами, с игрой света, невидимыми гранями божественного творения, полного Красоты во всех ее проявлениях и формах. Но сам же человек, осознанно или нет, лишает Вселенную любви, которая его растит. Он перестает смотреть и постепенно забывает о ней. Но даже таких людей ожидают в жизни картины, которые могут поколебать их, снести плотину, которой отгорожен настоящий мир. Иногда так случается, что возникает пробоина, и тогда пред их удивленными и восхищенными взорами предстает совсем иная реальность – та, которую они по невежеству своему страшились и боялись впустить в свою жизнь. Она является без приглашения и распоряжается по-своему, даря одну из величайших ценностей жизни – свободу от собственных иллюзий, ужасных и заманчивых – так хочется им поддаться. Но это рабство осознаешь лишь потом, когда начнешь бороться за освобождение.

Нечто подобное было и здесь: бросалось в глаза столько необычного, воодушевленного. Высший, пока неясный смысл просматривался во всем, что сперва заворожило и потрясло: оцепенев, застыв на месте, изумлялась земная беглянка и восхищалась.

Необъятным сдавалось пространство, полусферой уносясь ввысь. Сотворено ли оно было руками человека или богов, но представляло собой неповторимое зрелище: своды поддерживались девятью колоннами по краям, камень и обожженный кирпич, изумрудный мрамор были тщательно обработаны и покрыты краской. Невиданное доселе существо, неземное, точно из древних легенд объяло всю полусферу: под самым куполом застыло изображение шара, испещренного линиями, фигурами и надписями на незнакомом языке; шар служил опорой для туловища, закованного в латы из листьев лотоса. Голова этого титанического существа отыскалась где-то ближе к полу на дальней части полусферы. Его взор был как живой – даже непонятно, как удалось достичь такой живости. Такой взгляд просто невозможно было представить себе у человека! Насколько же он потрясал своим скрытым могуществом и глубиной, которую просто нельзя было постичь! Глаза – что две пустые впадины, в глуби которых что-то ярко сверкало; как два высохших озера, смотрели они прямо насквозь, все понимая и внушая надежду, что впереди ожидает лучшая жизнь. Рот, нос и все другие контуры лица – все это было миражом, отблеском мудрости и знания, непонятного, всесильного.

Девушка почувствовала, как ее глаза стали различать прежде неразличимое. Именно почувствовала, а не увидела: туман рассеивался так, как гаснет невежество перед искрой знания. Ей в первый раз стало страшно за свою человеческую природу, ее пугали и в одночасье манили к себе новые проблески: как ответ далекой звезды, они проникали в сердце и затеняли ложный свет, как истинное светило затеняет тусклый свет ночной свечи. Что-то незаметно подкрадывалось. Беглянка мира почувствовала себя так, точно засыпала под сенью деревьев на холодной земле, открытое небо согревало, как одеяло, и под покровом ночной тьмы сверху смотрело множество недостижимых огненных глаз, своим чистым небесным взором они словно проникали в глубину души. Она ощутила себя всего лишь крохотной частицей во вселенной, растворилась в беспредельности, почуяла внутри себя музыку космической души; вечное и прекрасное вливалось в нее, наполняя силами и вдохновением.

Едва удалось оторвать взгляд от божественного лица, как она обратила внимание на то, что сразу же должно было удивить, но оттеснилось на второй план: существо имело семь конечностей. По три выходило с каждого бока и одна спереди, причем руки были вполне ощутимы и весомы: разместились они не в плоскости полусферы, а в пространстве. Исходили они из

начертанных доспехов, извиваясь в воздухе самым непостижимым для ума способом. Переплетаясь получше клубка змей, выстраивали они целые объемные фигуры, которые внезапно оживали, если долго всматриваться. Сходились могучие руки, обхватом как две мужские посреди купола, зажимая нарисованный шар со всех сторон.

Во всей полусфере имелись отверстия. Покрытые непонятным блеклым веществом, они уходили горизонтально, как норы червей. Из некоторых, много больших отверстий, чудной спиралью спускались к земле вьюнки; все семь гигантских рук были ими оплетены, и порой казалось, что существо оживает. Из некоторых отверстий слева от того места, где стояла не то девушка, не то дивная статуя, шел слабый свет. Отдельные лучики, непонятно как здесь очутившиеся, устремлялись на противоположную стену, замирали на ней, и... создавали незабываемую картину солнечной спирали с семиконечной звездой посередине. Внутри же нее ютился треугольник, причем уже не из лучей, а из камня. Вся эту загадочную композицию охватывали каменные круги разной величины, будто гигантская капля дождя упала сюда и породила их; сам камень был расписан непонятными символами.

Но и это было еще далеко не все. Посередине помещения высился одинокий постамент без всяких украшений, а на нем покоился зеленый лотос, выполненный, по-видимому, из малахита. Лотос, размерами превосходивший настоящий раз в десять, высотой достигал человеческих глаз. Весь пол вокруг этой скульптуры еще более ошеломлял: множество отверстий вели на неизвестную глубину. Наибольшие из них были величиной с кулак, но все, как один, разместились по невидимому большому кругу. Тот, кто изучал математику, легко представит себе всю эту потрясающую взор картину.

Отверстий общим числом было семь, и из них вырывались жгучие языки пламени, озаряя все вокруг. Необычность всего удивила девушку в совсем легкой тунике, что по такой холодной погоде давало о себе знать. Как только она вошла, так и осталась стоять неподвижно. Застыв, девушка с прелестной и трогательной фигурой походила на скульптуру, изображавшую одну из богинь греческого или римского пантеона; она вполне могла являться составной частью, мозаикой в этой то ли безумной, то ли мудрой композиции.

Кто-то незаметный, в черном балахоне с капюшоном на голове, легко и мягко подошел сзади и, осторожно накинув повязку на глаза, шепнул на ухо зачарованной деве:

– Следуйте за мной, Венеция! Вы среди друзей!

Все кануло во тьму.

Глава VI. Совет семерых

«Есть только одно благо – знание и только одно зло – невежество».

Сократ

Глаза не сразу приспособились к окружающему полумраку, и потребовалось несколько минут, чтобы различить полукруг из фигур. Те целиком укутались в пенулу – тесное одеяние; знатная дама ни за что б не согласилась одеть эту неловкую, связывающую человека одежду из толстой материи: она сковывала свободу движений тела, и только рукам предоставлялась большая воля – по бокам были широкие прорезы. Пenuла расстегивалась спереди до самого конца, капюшон свободно откидывался, и из тени показывалось открытое лицо.

Когда зрение вернулось и привыкло к тому малому количеству света, что сюда проникал, она смогла различать контуры незнакомцев. Один из них жестом пригласил сесть на рядом стоящий стул, после чего все остальные также сели на свои места. Наступила минутная тишина, за время которой все вокруг было неподвижно, но это, к удивлению девушки, совсем не угнетало, а напротив – придавало мысли резвый бег. Суэта таяла, как утренний туман, и вот стало казаться, что это место освещено невыносимо ярко, глаза заболели от рези.

Наконец, один из полукруга поднялся со своего места и застыл в важной позе, но не той, которую принимает человек артистичный, когда движением и взглядом, не прибегая к словам, способен передать зрителям любой оттенок настроения и чувства, но той, которая становится естественной, как естественна высота кипариса и мощь дуба. Она была проста и непритязательна, но в ней чуялась сокрытая мощь и глубина знания. Бениция, помимо своей воли, прониклась настолько глубоким уважением, почтением и доверием к этому мудрому человеку, что у нее даже и мысли не возникло о том, что тот может воспользоваться ее верой. Такое необыкновенное уважение обычно питаешь не к людям, а к чему-то эфемерному, что нельзя потрогать, например, к знаниям веков. Понимаешь, что в них заключена невероятная и непостижимая сила, овладев которой можно свершить великие и эпохальные дела. И влияние такой силы распространится как на весь мир, так и на каждого человека. Но знание опасно: в зависимости от сердца, доброго или злого, его можно использовать как на добрые, так и на злые дела. Чувствуешь, что никакой личной оценкой нельзя правильно оценить масштабность и значительность его.

Тем удивительнее, что подобное безграничное доверие возникло у девушки, справедливости ради надо сказать – рассудительной и трезвомыслящей, к существу из плоти и крови. А как известно, человек, за редкими исключениями, не способен в силу своей природы и недолговечности обладать знаниями тысячелетий.

В этот же миг поднявшийся обратился к ней со словами:

– Здравствуй, дочь земли, пришедшая из мира страданий сюда за помощью! Свидетельствую, что мы ждали тебя. Ты удивлена? Но это было так же неизбежно, как и то, что время крадет наше настоящее, чтобы мы могли либо радеть, либо горько скорбеть за свое прошлое, в котором остались неисправимые ошибки, свершенные по неведению или невежеству. Как и все во Вселенной, видимой и невидимой, твое появление, как следствие нам известных причин, было полностью закономерным. Но помни: у каждого есть будущее – и оно целиком зависит от тебя! Ты переступила порог сокрытой Истины, а он озаряет своим светом даже людей слепых и глухих; не физически – ты понимаешь, но тех, кто полностью попал во власть земных сил. Ты сама, несмотря на то, что была лучше подготовлена многих из тех, кто попадал сюда впервые, оказалась в замешательстве. Ты должна знать куда вступила! Какой выбор сделала! Знаешь ли ты, что после уже нельзя будет сбросить ношу знания?

– Да, знаю, мудрый человек! – с трепетом в голосе ответила Бениция.

– Хорошо. Тогда ты все узнаешь: не сразу, конечно, но шаг за шагом – ничто, а тем более знание, не дается без труда. Здесь рушатся прежние воззрения на мир, кажутся ложными убеждения, впитанные с молоком матери. Здесь каждого, кто стремится к этому, ждет новое рождение – сознательное, сделанное по собственному выбору, на свою ответственность. Здесь правилом человека должно стать то, что случайностей как в его отдельно взятой жизни, так и в жизни целых наций и народов, не существует. Одно это позволяет наполовину прозреть, увидеть, что нынешняя жизнь стала такой от твоих же мыслей, слов и поступков! Тебе, Бениция, это будет сделать намного легче, чем многим другим, которые переступали этот порог в поисках Правды, помощи, совета, убежища или власти. Последние, правда, нашли не Правду и не власть, но свою погибель – истинное знание не приемлет власти в ее мирском понимании. Поэтому будь осторожна со своими желаниями и разбирайся, что ведет к добру, а что – к злу. Ты одна из числа людей, живущих по совести, людей с открытыми глазами, и свет от них заслоняет лишь собственная ладонь. На пути к нам ты прошла через многие трудности, испытания, а в последнее время – и страдания. И это не случайно. Решением нашего Совета Семерых тебе разрешено войти в Круг достойных. Мы тебе поможем. Разумеется, наша помощь ни к чему тебя не обязывает, и входить ли, или нет – твой выбор. Самое сокровенное, неотъемлемый дар каждого, что мы ценим выше всех благ мира земного, – это свобода воли. Свобода в самом широком, самом созидательном разумении. Я закончил. Выбор за тобой, Бениция!

Бениция слушала как взрослый человек, вдруг увидевший в отражении водной глади свое забытое детство. Неожиданно она заново открыла для себя то, что когда-то было открыто, но что со временем скрылось в непроглядной тени слепоты.

– Да, я хочу видеть! – ее голос дрожал, но дрожал не от страха. И не от робости или излишней впечатлительности, а от восхищения и внутреннего трепета, который охватил не только ее тело, но перевернул всю душу. В груди разлилось приятное тепло; медленно поднимаясь кверху, оно наполнило ее радостью и силой.

– Тогда целиком доверься нам, дочь наша, и поведай о своих трудностях, чтобы мы могли тебе помочь. Мы готовы выслушать тебя.

После этого человек опустился на свое место и присоединился к своим молчаливым собратям, предоставив Бениции начать речь.

– Благодарю вас всех заранее! За все, что вы делаете для других и что, если будет на то ваша добрая воля, сделаете для меня!

И она повела свой рассказ...

Глава VII. Изгнание

«Те, на кого надеешься, могут погубить, а те, кем пренебрегаешь, – спасти».

Эзон

В доме Татиев господствовало ночное затишье. Такое обычно бывало после долгих праздничных гуляний. Сейчас была иная обстановка: тишь скорее напоминала о том, что не должно было случиться, но что случилось – и оставалось лишь попытаться принять. Но как же нелегко было сделать это!

Ни в одном окне дома не горел огонек: можно заподозрить, что все спали ровным безмятежным сном, но это было далеко не так. После бурного вечера бог сна коснулся далеко не всех.

Комната была темной, но явно не безлюдной: слышалось ровное, спокойное дыхание, мерные вдохи и выдохи, гулкие удары сердца; но что-то жутковатое пряталось в темноте.

Валерий просто молчал. Молчал, не произнося ни слова. И это было как раз то гнетущее молчание, которое говорило лучше всяких слов. Вот уж воистину человеческая мысль способна на многое! Он был расстроен, подавлен, а в первое мгновение после того, как пришел в себя, – даже взбешен: негодовал так сильно, насколько мог. Ничего из этого не вырвалось наружу, но все жилы на лице вздулись в напряжении, превратились в пики острых скал посреди обычно спокойного озера. И все это насытило воздух. Поза, лицо, взгляд. О, как много сейчас выражал этот взгляд – если бы только увидел его кто-нибудь! Но судьба, видимо, сжалилась над тем несчастным, кто мог бы оказаться здесь. Испепеляющий взгляд – это еще слабо сказано. Прошло время, и буря улеглась.

Недовольство, разочарование, ненависть, гнев. Нет! Не это сейчас владело Валерием. Стыд, чувство вины, обида – это более верно, но все равно не до конца отражало то, что поселилось в его душе. Отец семейства был сильной натурой, как он считал, и, как все ему подобные, обладал тем же недостатком – неспособностью признать свою ошибку. И именно потому всего несколько минут назад он готов был испепелить весь белый свет – лишь бы не признать того, что стало явью. Но это уже произошло. И разумность, в конце концов, возобладала. Вместо бушевавшего пожара нахлынула пустота, смыв все останки прежней ярости.

Когда вошел Авл, глаза Валерия не выражали ничего, кроме стеклянной безжизненности. Такое нередко случается у безнадежно больных, когда предел отчаяния переступлен, и дальше начинаются владения смерти. Хоть Валерий и не ощущал смерти, от него веяло тем же, чем и от людей, близких к самоубийству: пустотой, безразличием, сокрушенными надеждами, несбывшимися мечтами, поломанной жизнью и отсутствием жалости. Ведь жалость еще принадлежит к сфере жизни. Если есть что жалеть, хотя бы себя, в крайнем случае, – есть еще надежда, что человек одумается. Здесь же жалости не было. Молчание и породило убийственную тишину.

Стул, на который присел Авл, закрипел безжизненно. Авл расположился поблизости, слева от отца. Глядя на него, юноша все более и более настораживался, пытаясь понять то, чего никак не мог понять. Наконец, тяжкий вздох пронесся по комнате: перемены входили в жизнь. На лице сенатора появилась скорбная решимость – такая, когда человек отважился на то, о чем будет сильно скорбеть; но иного выхода не видит и приходит к единственно правильному решению. По крайней мере, так всегда кажется. Но пройдет незначительное время – и вот человек понимает: он совершил роковую ошибку, но исправить что-либо уже не в его силах.

Решение было принято. Дело сделано. Осталось привести его в исполнение. Валерий относился к тем натурам, для которых самое сложное – решиться. Поразительно, но ни разу

в жизни не было такого случая, чтобы принятое им решение не приводило бы к исполнению: настолько все тщательно, досконально, рационально он обдумывал!

Он встал невероятно спокойно, что не предвещало ничего хорошего, поскольку и спокойствие бывает разного рода. Медленной, тихой походкой подошел к окну, окунулся в море свежести и вслушался в ветер. Тот, казалось, шептал о чем-то таком возвышенном, неземном.

Сначала одними лишь губами, а затем и вслух Валерий заговорил, но это был тяжелый монолог – скорее разговор с собой, нежели с Авлом – его он попросту не замечал, словно комната была совершенно безлюдной. Это была речь человека, который пытался оправдать себя в собственных глазах за вынесенный вердикт, успокоить душу.

– А ведь я все время старался воспитать своих детей должным образом. Привить им дипломатичность, тактичность, осторожность. Нельзя вот так говорить все, что думаешь... в мире, где почти каждый говорит не то, что думает, а то, что хочет услышать собеседник, что будет ему приятно. Надо ж делать так, чтобы людям было приятно! Им не нужно знать, что ты думаешь на самом деле. Им хватает и своих мыслей, чтобы еще слышать неприятное от других! Так принято в мире от начала времен. Не я первый установил эти порядки. Право сильного... Каждый знает эти правила и может либо выполнять их, либо нет – на свое усмотрение. Но если собеседник имеет для тебя хотя бы самое малое значение и может пригодиться – не открывай ему своих настоящих мыслей. Одно из правил дипломатии. А практически любой человек при тех или иных обстоятельствах может тебе пригодиться. Как знать, какой стороной повернется к тебе жизнь?.. Я, как мог, старался воспитать вас в духе нравственности, порядочности и высокой морали. Порядочный человек никогда не упомянет о том, чем может оскорбить другого. Унизить или задеть его прошлое или настоящее, о котором он не хотел бы вспоминать, – дело пустяковое. А вот сделать приятное... Улыбаться и кивать, когда тебе даже не хочется кого-то видеть – это, конечно, непросто, но этому надо учиться. Люди должны видеть твою открытость, твое согласие. Они не должны тебя бояться! Никто не любит того, кого боится.

Валерий взглянул на Авла, будто пытался найти подтверждение своим словам, но, ничего не увидев, отвернулся к окну и могильным голосом, не допускающим возражений, тихо, но внятно произнес:

– Тебе надо уехать на пару лет из Рима. И чем дальше – тем лучше. До рассвета еще осталось четыре часа: собери все, что тебе необходимо и еще до первых лучей солнца покинь и дом, и город.

Авл замер, внутренне поражаясь – насколько близко в цель попала его безумная догадка. И приоткрыла новую реальность, которая начала воплощаться, грозя стать полем боя для него в будущем. Дело грядущего, хоть и не такого далекого: всему свое время. Сейчас же он старался уложить все это в голову. А Валерий, видя безучастное лицо сына, что не выражало ни протеста, ни сопротивления, ни испуга или страха, продолжил:

– Деньги на первое время возьми у Фруги: они тебе понадобятся на поездку и устройство. Я уже отдал распоряжение. Потом дашь о себе знать, послав человека с письмом. Шифр ты знаешь. С матерью и сестрой прощаться не стоит: это тебя надолго задержит, а времени у тебя мало, – отец говорил коротко и быстро, точно пытался успеть высказать все мысли, которые помнил. – Не стану скрывать: тебе грозит смертельная опасность! Не знаю как, но ты узнал то, что тебе не следовало никогда узнавать. Теперь твое единственное спасение – исчезнуть так, чтоб ни одна душа в мире не знала, где ты. Кроме меня, разумеется... Я люблю тебя, сын!..

Валерий посмотрел на сына любящими глазами, в которых все же на краткий, еле уловимый миг, мелькнули смущение и вина, но они быстро пропали. Две родственные души слились в объятии любви и дружбы. Прощание продлилось недолго, после чего Валерий стал все тем же сенатором, каким его и знали самые близкие друзья: бесстрастным, строгим, терпеливым.

Авл готов был подчиниться и последовать своей судьбе, какова бы она ни была, и что бы она ни несла под своим крылом. Об этом свидетельствовал весь его покорный и смиренный

вид. Но одна мысль не давала ему покоя, и он взял отца за руку, взглянул ему в глаза, и многозначно произнес:

– Ты знал об этом? – хотя слова прозвучали скорее как утверждение, нежели как вопрос.

– Тебе надо поторопиться. Иди и следуй своему разуму, – после некоторого молчания выговорил Валерий. Он не стал долее задерживать сына и, развернувшись, направился к двери. Там задержался на последнюю секунду, бросил прощальный взгляд на сына и скрылся в темноте коридора.

Звуки его шагов потонули в окружающей тишине. Внезапно стало пусто. Нехорошее предчувствие не покидало Авла, но ничего нельзя было изменить и, заставив сердце замолчать, он, как солдат, пошел исполнять приказ отца. Или как отважный философ-стоик, готовый пожертвовать всеми земными удобствами ради одной цели.

Скоро наступят иные времена. Но он ко всему готов. Ведь не зря он так проникся духом стоицизма – в нем есть ответы на все жизненные вопросы! Исполненный этой счастливой уверенностью, Авл твердым шагом вышел из комнаты, оставив ее пустующей, и отправился собираться в дорогу.

Дверь в комнату матери или сестры так ни разу и не отворилась за эту ночь.

Глава VIII. Источник света

«Любовь есть сама жизнь; но не жизнь неразумная, страдальческая и гибнущая, а жизнь блаженная и бесконечная».
Л. Н. Толстой

Район Эсквилина, на Лабиканской дороге, недалеко от Лициниевых садов, был в целом спокойным и мирным: несмотря на некоторое количество борцов за какие-то идеи, здесь преимущественно жили люди с устоявшимися привычками и взглядами на жизнь, которые не мешали себе подобным предаваться тому, что называется «устроенной жизнью». Здесь жили люди состоятельные, получившие в свое время от жизни все, что хотели, и теперь, как говорится, доживали свой долгий век.

Особняк с прекрасно ухоженным садом расположился вдалеке от проезжих дорог. Высокая, в полтора человеческих роста, каменная ограда отгородила его от остального мира. Помещение для скота примыкало вплотную к забору, дальше располагались: служебное помещение, помещение для вольноотпущенников, для охраны и, наконец, сам дом, который возвышался надо всем, как великан над карликом, стоя на небольшом пригорке. Двухэтажный красавец с верандой для встречи солнца и провода дня, уютными окнами, с красивой, непотертой временем раскраской, изящными колоннами, арками, украшавшими вход, словно приглашал всех проследовать вовнутрь.

Тишина, умиротворенность, благодать, средоточие доброты – таковы были первые впечатления того, кто впервые входил в эту внутреннюю жизнь, казалось, никак не связанную со всем тем, что творилось снаружи.

Вдруг раздались чьи-то размеренные шаги. Этот кто-то проследовал из одного конца дома в другой, потом прошел еще один, другой. И, наконец, дом ожил. Жизнь оказалась не бурная, не суетливая, но вся преисполненная какой-то радостью: каждый человек в доме, а их здесь хватало, знал свое дело и спокойно, со знанием своих сил, занимался тем, чем положено. Вольноотпущенники были прилично одеты, их лица не выражали страха перед господами, а точнее – госпожой, скорее наоборот – глаза светились благодарностью за заботу и дружеское расположение. И за это они служили и преданно, и честно, что так редко можно повстречать у людей, особенно если платишь им деньги.

Гости дома были приветливы и проводили дни в беседах, обсуждая многие значительные, на их взгляд, вопросы; некоторые то входили, то выходили из библиотеки, богатой не столько количеством, сколько качеством тех книг, что составляли ее. Порой тишина нарушалась размеренными, плавно журчащими, как ручеек, звуками чарующей арфы – звучала то задумчивая песня с какой-то невысказанною мольбою, то лирическая о чувствах влюбленных или о светлом дне, когда Марс снисходил до того, что давал передышку своим сыновьям – детям Рима – хотя бы на год.

Дом ожил. Гости прошли в триклиний позавтракать, их было несколько: известный поэт из Капуи Марк Клесий и талантливый скульптор Деян Руллиан, слепивший когда-то на радость хозяйке голову Атласа, держащего небесную твердь. Как часто любила она повторять: «Пока есть в мире любовь – мир не рухнет!». Любовь она видела и в образе Атласа – этого воспетого греками титана. Попирает его многозвездный свод, давит неимоверно, но стоит он нерушимо, неся свой дар или свое проклятье – все у него в руках. И обернуть это можно в любую сторону! Были здесь и менее именитые люди разных профессий и успехов, но всех их объединяло нечто, на первый взгляд, неуловимое.

Ближе к полудню появилась сама госпожа – Пристилла неспешно проследовала из своей спальни на веранду, приветствуя с новым днем всех, кто попадался ей навстречу; заглянув

предусмотрительно и в триклиний, она пожелала приятного аппетита, пообещав по возможности присоединиться позже.

Когда она вышла на веранду, то очутилась в свежем порыве прохладного ветра, налетевшего так приятно без той учтивости и деликатности, которая бы разом помешала, следуя ветер нормам и правилам людей.

«Природа безыскусственна, – думала она. – Она не создает себе образа, не пытается учесть интересы и мнения своего окружения. Она непосредственна. Она просто живет! И наслаждается этой жизнью, даря и ничего не требуя взамен. Вот, например, сейчас дует этот свежий ветерок, дарит мне живительную влагу, играет с моими волосами, ласкает мое лицо и руки, нежно, с заботой. Но он не хочет сделать мне приятно. Сейчас просто таково его состояние – и в этом он сам. А в другое время он может стать резким, порывистым, грубым, жечь и щипать, шипеть от негодования и завывать от злобы, которой он непременно даст волю. И тогда он будет собой. Ему не нужен ни мой кров, ни моя благодарность. А все-таки он знает меня, а я знаю его. Не было б меня – а он все так же дул сейчас, нимало не обеспокоившись утратой. Ветер жесток. В нем нет любви, но он...»

Поток ее мыслей прервало легкое прикосновение к плечу чьей-то руки, отчего матрона невольно внутренне вздрогнула, разрушилось созерцательное настроение за прекрасными садами, которые не утратили и зимой своего очарования. Так запросто представлялось, как пленительным летом можно будет спастись от солнечного зноя под густыми кронами буков, бледных берез и белой акации. А как красиво сейчас смотрелись вечнозеленые пробковые дубы, бессмертный лавр, шелестевший под ветром изумительной листвой на густых ветвях, словно соглашаясь с мыслями хозяйки!

– Светлого дня, добрая матрона! – бодро отозвался знакомый голос.

Обернувшись, она увидела Марка Клесия, которого знала не первый год и поддерживала с ним искренние дружеские отношения.

– И тебе, мастер чистого слова, желаю того же!

Марк приветственно улыбнулся. Он был моложе ее на пятнадцать лет и в свои двадцать девять успел прославиться в своем городе как поэт, владеющий тонким и изысканным словом. Поэзия стала делом его души: подмечать самые разнообразные оттенки прекрасного во всем, искать очарование там, где другие находят лишь обыденность, разукрасить новыми красками то, что давно потеряло свой цвет и поблекло. В своем роде он был вольным художником. Он знал свое дело. Марк хотел этим заниматься – и занимался: в этом заключалась вся жизнь для него. Однажды, когда начинающий поэт выступал на портике перед гражданами своего города, теми, кто любил поэзию, его посетила муза, подарившая новую жизнь. Он увидел женщину, и она поразила его тем сиянием доброты, которое исходило от нее, как лучи от солнца. Она сказала ему: «Любовь превыше всего, мой мальчик! Ты сможешь донести это до людей в своих стихах!». Так он познакомился с Пристилкой Татий, которая изменила его судьбу. Это было почти десять лет назад.

– В это время здесь тихо и красиво, поэтому-то я здесь обычно и уединяюсь – чувствую себя свободной, мой друг. Как ни прискорбно, среди людей не найти того, что так явственно ощущаешь здесь. Это не дает мне покоя по ночам. Я разуверилась в людях. Но не в Добре.

Она глядела на него, получая огромное наслаждение, как на родного сына: теплым ласковым взором, полным доброты и смирения. Но Марк уловил еще что-то.

– Вы разуверились в людях? Неужели это могло случиться?

– Сколько ночей я боялась признаться даже себе в этом! Сколько ночей я провела, стараясь понять причины того, что происходит сейчас! Почему люди ведут такую жизнь, забыв о нравах тех, кто в былые времена тело и душу отдавал за свободу. И что от этого осталось?

– Я не верю, что слышу подобные слова от вас! Вы всегда служили для меня образцом, надежным эталоном доброжелательности! Ваша добродетель..., – молодой поэт был взволно-

ван: впервые он слышал подобные речи от давно знакомой ему женщины, в которой никогда не сомневался, которая вывела его в свет, дала возможность жить поэзией, не беспокоясь о деньгах – это всегда было его мечтой. И он жил и творил. Плодотворно и неповторимо, стараясь посеять ростки любви и добра в сердцах людей.

Немного помолчав, глядя на ветви лавра, росшего прямо перед самой верандой, Пристилла негромко произнесла:

– В моем отношении к людям ничего не изменилось – изменилось в моем отношении ко мне самой. Я вдруг поняла такое, что, клянусь Истиной, сочла бы за благо никогда не поднимать на свет Божий. Это лишило меня многого, дав то немногое, что станет скоро сутью новой жизни для меня... Но принесет ли мне это радость?

– Вы пугаете меня, моя муза!

Но Пристилла продолжала:

– Это время страдания. Время, когда надо полностью переосмыслить всю свою жизнь, чтобы отмести старое и принять новое; оставить в прошлом весь тот хлам и мусор, что цепляется за нас ежедневно и копится годами, пока не останавливает нас на нашем Пути. Все мы чувствуем это, но редко признаемся себе: как много мы тащим за собой того, что мешает нам жить, что мешает нам познать радость и смысл бытия, что мешает нам любить; что на долгие годы, если не на всю жизнь, лишает нас возможности видеть и понимать. Это как бельмо на глазу: свет пропадает не сразу, но постепенно тускнеет, тускнеет... пока не перестанет мерцать и не потухнет окончательно...

Здоровый ветер задул сильнее, качая кроны деревьев, стал доносить голоса резвящихся детишек, стук работы механизмов в темных мастерских; окрики городской полиции призывали к порядку. Поблизости прошел человек, насвистывая грустную песенку о том, как его покинула возлюбленная и как он тоскует по ней.

– Так садится солнце, пока не оставляет по себе лишь отблески, красивые, яркие, впечатляющие, как последнее напоминание о себе. Скоро пропадут и они. И тогда наступит ночь, темная, полная страхов и заблуждений. Вступив в нее, можно шагать и дальше, без разумения, словно глупое животное. В ночи придут видения, уводя все дальше и дальше от дороги жизни.

Марк смотрел с сочувствием, пытаясь проникнуть в самые глубины чужой души, почувствовать, что там происходит. Ему удалось немного. Он понял лишь, что хочет помочь, и приложит все усилия, чтобы Пристилла не отошла от этой пресловутой дороги жизни.

– Свет и тьма. Это яркие символические образы, которыми, как ты знаешь, пользуюсь и я, чтобы выразить свойства человеческой души. – Объявил Марк, из-за чего ощутил на себе взгляд человека, который не понят другими и имеет мало надежды на понимание.

Она проговорила медленно, с остановкой после каждого слова:

– Нет, Марк. Это не символы, это – образы. Образы жизни и смерти. Как грозные и пугающие звуки грома, как молния, что прорезает своим светом ночную глухую тьму, – они так же зримы!

Она по-матерински обняла его, взяла за руку и повела вовнутрь:

– Пойдем. Здесь начинает холодать, ветер крепчает, и простудиться не составит ни малейшего труда. А я не хотела бы, чтобы ты простудился. Через неделю ты будешь декламировать свои новые стихи в театре Бальба! Соберется много людей. Все они любят красивое слово, что льется, струится, словно первый весенний ручеек. Многих из них я давно знаю. А сколько там будет людей, которым твое слово поможет!

– Клянусь Минервой, вы мне льстите и сильно преувеличиваете мои подлинные возможности, – залился краской явно польщенный Марк.

– Человек порой превозносит в себе то, чем не обладает, но так же часто и не видит то, что в нем есть! – ответила госпожа.

– Но все же. Хоть я и понимаю красоту своих стихов, но с трудом могу поверить, что прочитаю их – и жизнь тех людей станет лучше, обеспеченней, свободней. А многие из них вдобавок ко всему еще и пребывают в неведении: тяжкое заблуждение владеет ими, и разве в силах я им помочь?! Они так уверены, что свободны, хотя влачат увесистые путы рабства...

Они шли прямыми коридорами, которые иногда уводили в сторону, открывали новые двери и комнаты, залы и места для отдыха и досуга. Мягкие шерстяные ковры густо устлали пол, и красивые переливчатые ткани, свисавшие с потолка то там, то сям, заставляли восторгаться.

– О, Марк, ты кудесник слова, но знаешь ли ты, что оно дает? Мы с тобой провели столько времени в беседах, в чтении твоей изумрудной поэзии. Твое слово дает жизнь, оно дает силы!

Когда они вошли в просторное помещение с удобными ложами, хорошо обставленное всем необходимым, Пристилла прикрыла легким движением руки дверь, и гость следом за хозяйкой присел. В ее глазах сначала чуть мелькнул, а затем начал разгораться огонек восторженности. Все вокруг сразу же словно преобразилось, следуя изменениям в мысли. Госпожа внимательно наблюдала за настроением гостя, пытаясь прочувствовать его характер, расположение духа, чтобы развеять те привычные представления, что сложились в голове за годы жизни.

– Тебе, оказывается, предстоит еще многое узнать! Ко многому ты, я в этом уверена, придешь сам! В опасных проливах кораблю придется идти в одиночестве, имея лишь спасительную веру в основе своей силы. Помни, что слова являются волшебными кораблями мысли! Они способны на очень-очень многое: они могут подарить жизнь или смерть, любовь или ненависть, добро или зло. Печально, люди потеряли то огромное значение слова, которое им по праву принадлежит! А все дело, как всегда, – в ответственности. Ее вообще нелегко брать: это в нашей природе, но не той что возносит на небеса, а той, что удерживает на земле. Между тем, в слово можно вложить мощь, способную дать порыв к движению. Конечно, если за словом стоит суть, а не притворство или самообман.

– И вы думаете, что в моих словах есть эта мощь?

– Да. У тебя чистое сердце, открытые мысли – огонь разгорается медленно, но неумолимо, – и однажды воспыхает красотой! А сердце есть самое мощное средство для помощи другим. Мощь берется не из слов. Вначале она должна возникнуть в нашем сердце, воплотиться в нем как образ жизни. С этого мига на нас ложится величайшая ответственность за каждую мысль, ведь остановить ее труднее, нежели породить!

– Но как часто я затрудняюсь, не знаю, что могу сказать людям!

– Это естественно. Но задача поэта, пожалуй, и заключается как раз в том, чтобы искать то, сам не знаешь что, и писать об этом.

Марк слушал с немим восхищением, боясь даже пошевелиться, прервать это напутствие – он был благодарен и нередко удивлялся: чем заслужил столь доброе к нему отношение? С начала знакомства прошли долгие годы, а сила добра, кажется, только росла, как в нем, так и в Пристилле.

– Для мысли не страшны никакие препятствия, никакие стены! Она все обогнет, все сокрушит и все осилит! Она способна одолеть любую пропасть, перекинуться через нее, подобно спасительному сказочному мосту! И когда достигает нужной силы – вот тогда рождаются искренние слова, пылающие живым огнем!

– Но как мои слова могут помочь людям? – как можно искренней спросил Марк. У него были свои мысли по этому вопросу, но ему так хотелось узнать мнение своей мудрой музы!

– Людям помощь начинается уже с самой мысли. Хоть это и невероятно трудно заметить. Видеть невидимое – задача для тех, кто усвоил самые простые уроки жизни. А уж слово! Оно живет своей жизнью, рождаясь из гортани человека. Достигает ума и сердец других людей, множится и струится еще и еще дальше, покоряет людей, семьи, далекие страны. О! Оно неудер-

жимо! Слово само по себе, конечно, не спасет людей, но главное предопределение слова – его применение. Ключ ко всему именно в этом! Жить чистым словом и говорить с чистым сердцем!

Пристилла остановилась. Встала и прошлась, как ангел чистоты, дотронулась до красивой статуэтки Венеры. Она стояла на столе, всем своим видом подчеркивая тот дух, что витал в этом доме.

– Любовь – тот путь, ведущий к совершенству. Да! Так вот, внутри каждого есть это величайшее стремление, но оно забивается нашими демонами. Но даже проигравший борьбу имеет надежду на спасение! Слово – тот проводник, который поможет выбраться из дремучего леса невежества на прогалину чистоты, это компас, который поможет правильно выбрать путь в океане противоречий.

Марк изумленно внимал речам этой необыкновенной женщины. Хотя он знал ее немало лет, она не переставала его удивлять своей неповторимостью и многогранностью характера.

– Но как мне знать: может, мой компас направлен вовсе не на север? И я, заблуждаясь сам, запутаю и тех, кто последует за моим словом? Как мне знать – куда я сам иду?

– Жаждающий напьется с целительного источника. Тот, кто отдал свое сердце стороне Света, почувствует во тьме путь к спасению, а горизонт оживет, как перед рассветом. Пусть долг будет путь, но идущий одолеет его. И если не сообразится, не примет тьму за свет, то рано или позже увидит тот рассвет!

Вскоре Пристилла оставила Марка – он вдохновился и начал записывать строки своего нового произведения, которое рождалось на свет божий в счастливый миг просветления. Она решила не отвлекать его в этом деле, ведь любой, кто творит, – знает: порой настолько захватывает сам процесс, несущий ни с чем не сравнимую радость, что малейший звук извне способен надолго лишить этого чудесного мира.

Она вышла незаметно и красиво – точно так, как вела и свою жизнь.

Глава IX. Безысходная любовь

«Болезнь любви неизлечима».

А. С. Пушкин

Пристилла наблюдала за жизнью улицы из своего окна: сколь яркие и интересные картины можно порой увидеть, и почерпнуть для себя нечто важное о человеческой природе. К ней постучался слуга и доложил о приходе ее родственницы. Ожидание не затянулось надолго: Аврора была тем человеком, который не заставит ждать других, и всегда приходила, если уж сама желала увидеться.

Знакомый скорый топот когда-то детских и крошечных, а сейчас безмерно красивых ног молодой девушки, и радостный окрик заставили Пристиллу развернуться:

– Тетя! Дорогая!

И Пристилла с распростертыми объятиями встретила драгоценную и любимую племянницу. Как долго они были в разлуке!

– Аврора, ясная заря сегодняшнего дня, как долго ж мы с тобою не виделись! И как я тосковала в те холодные вечера, когда приходилось оставаться одной! Но довольно простран-ных разглагольствований – ты наверняка замерзла и хочешь согреться, пойдём...

Их легкие голоса, как щебетание двух весенних пташек, еще долго разносились эхом по комнатам и коридорам дома. Это был редкий праздник, но уж когда он наступал, то длился без передышки до глубокой ночи. Веселье, жемчужный смех заразительны и для гостей, – так было и в этот раз; казалось, столько смеяться было просто не под силу обычному человеку, но две женщины радовались как дети: непринужденно, ни о чем не заботясь, не скрывая своей радости, не боясь, что ее не так поймут. Нет! Страх им сейчас вовсе был чужд, напротив, здесь пронеслось столько стрел улыбок, что весь дом преобразился до неузнаваемости. Смех был чистым, искренним и дружелюбным.

Вечер наступил незаметно. Следом подкралось и вечернее настроение, и мысли, которые так часто наплывают под вечер. Женщины уединились в одной из многочисленных комнат этого просторного дома. Беседа текла в доверительном дружеском русле.

– Знаешь, я провела с тобой прекрасный день. Сегодня у меня было так чудесно и светло на сердце, прямо, как в те памятные дни детства, когда я убежала из дому и мчалась во весь опор сюда, а ты меня качала на своих руках, ласкала, рассказывала интереснейшие сказки. То было волшебное время. Как я мечтала, чтобы оно повторилось! Сегодня я будто снова родилась, будто заново – с силой и жизнью молодости – окунулась в те края, вдохнула восхитительный аромат.

– Да! А потом ко мне приходили слуги твоего отца и забирали тебя плачущую домой, а мне говорили, чтоб я не смела поддерживать твое естественное стремление: пройдет время, ты меня забудешь в поре молодости, когда откроешь для себя новые неведомые вселенные чувств, а я останусь одна и буду горевать.

Они засмеялись вместе и обнялись.

– Поверь! Моя душа всегда стремилась к тебе. Ты для меня как вторая мать. Ничто не заставит меня забыть об этом, и меня жутко угнетает то, что к тебе так относятся. Ты не заслужила этого! Это в высшей степени несправедливо, я никогда не понимала и боюсь, что никогда и не пойму.

– На все в жизни есть свои причины, мой юный ангел. Просто часто они скрываются во владениях ночи. И там их разглядеть невероятно тяжело. Попробуй представить себе: какое существует неисчислимое множество таких вещей в мире, которых ты или я не видели, да может, и не увидим до скончания дней своих? Но они существуют, вопреки тому, что мы о

них думаем! И будут продолжать существовать уже после нас, и это будет в высшей степени справедливо!

Пристилла смотрела снисходительно, но благодушно, раскрывая те страницы, о которых когда-то, в пору своей молодости, тоже не ведала.

– А эти самые причины от меня, как и от моего брата, тщательно скрывают. Да вот и для того, чтобы увидеть тебя, мне довелось столько спорить! Стоило немалых усилий убедить отца в том, что меня ничто не удержит, – Аврора улыбнулась улыбкою победителя. – Хотя его как будто подменили. Авл, знаешь ли, покинул отчий дом, ни с кем не попрощавшись... Такого я от него не ожидала! Отец сказал, что он захотел стать странствующим философом. И это несмотря на те планы, которые родитель лелеял по отношению к моему брату: уж я-то знаю!

– И ты поверила в это? – изумилась хозяйка дома.

– Не сразу. Это все показалось мне слишком удивительным и непохожим на Авла, но я не вижу других причин, кроме тех, о которых сказал мне отец.

– Поведай мне, пожалуйста, об этом подробнее, дочь моя! Не откажи в моей просьбе; я знаю, что Валерий сказал тебе: «Не говори об этом ни с одной живой душой в мире!». Но я для него давным-давно душа умершая, а поэтому расскажи все, что тебе известно. Это важно, настолько важно, что я не могу поверить, что годы ожидания могут закончиться и наступит время действия. Но, быть может, я ошибаюсь, принимая желаемое за действительное. Не утай от меня ничего, – с этими словами Пристилла взяла ее за обе руки и прижала к своей груди, одними глазами продолжая просить.

– Я не знаю, откуда тебе это известно, но так и было. И что-то настойчиво советует поделиться с тобой этим. Может, мне тогда и полегчает – этот груз не дает покоя.

Это произошло три дня назад. Когда я проснулась ранним утром, ослепительный свет бросил свои первые смелые лучи на меня. Я чувствовала себя страшно уставшей после того, что стряслось накануне. Силы у меня были, а вот душевное равновесие – нет. Такое чувство, что не хватало какой-то частички самой себя. Я оделась и поспешила вниз. Первым человеком, который попался мне на глаза, была моя мать. Она прятала голову в темную ткань и сторонилась меня. Не сразу я поняла почему: она плакала, нет, скорее рыдала, но давила все это в груди. Ничего мне не сказав, кроме лишь того, чтобы я говорила с отцом, она выскользнула и поспешила к себе.

Дверь в отцовскую комнату была плотно закрыта – он любил там уединяться, чтобы побыть одному или принять кого-то важного. Я была напугана непонятными слезами матери и собственным плохим состоянием и не решилась хотя бы постучать. В комнату вели две двери. Перед одной я и села, вторая была вдалеке от меня по коридору. Внезапно та дверь отворилась, и оттуда быстрым шагом вышли двое посетителей. Они сразу же свернули во внутренний дворик – так они могли выйти в сад и потом прямо на улицу. Первого я успела плохо рассмотреть: он был в пенуле с черным капюшоном, но его черты показались мне смутно знакомыми: где-то я его видела однажды. Это я поняла по тому, как он дернул левой рукой, чтобы приказать второму следовать за ним – такой характерный жест мне встречался. Именно приказать. Второго и узнавать было не нужно. Для меня они – все на одно лицо. То был центурион. В чешуйчатом панцире из железа, как мифическая рыба, повергающая одним своим видом врагов в ужас! Состоящий из двух половинок, скрепленных ремнями, он представлял собой надежное убежище от вражеского клинка. Плащ цвета крови, красный, как глаза разъяренного быка, развевался от любого движения и захватывал дух. Посеребренный шлем скрывал голову этого воина, так что я не сумела разглядеть те приметы волос, которые мы так легко запоминаем. Меч, зажатый в правой руке, довершал это впечатление. Орудие смерти – оно в тот миг торжественно молчало.

Когда я подбежала к той двери, то застала ее открытой: в комнате за столом сидел отец, опустив голову на книгу. Вокруг повисла мертвая тишина, а вдобавок здесь все было в зана-

весах, и свет сюда не мог проникнуть. Мое сердце невольно застучало и никак не получалось заставить биться его тише. Казалось, что эти страшные удары, как раскаты грома, прокатываются по всей округе, и любой, на кого бы я ни бросила взгляд, рассмеется от моей трусости. Но мне самой до смеха было далеко. Отец не шевелился, даже когда я подошла к нему совсем близко, на расстояние вытянутой руки.

«— Отец, — сказала я негромко, — мне надо с вами поговорить».

Только тогда он зашевелился, словно пробудившись от тяжелого кошмарного сна, который урвал у него половину молодости: весь он как-то постарел за одну ночь, осунулся. Он взглянул на меня тусклым взглядом — я сразу поняла, что дела плохи — и указал мне на стул рядом. Я присела. Вот тогда он и начал говорить, сразу же сделав мне это предупреждение. Получается, что я его нарушаю, но не чувствую почему-то себя виноватой.

«— Твой брат покинул нас и наш славный город, осененный знаменем славы и величия, перед которым склонились ниц все народы. Авл оставил мне письмо, но я сжег его от расстройств — там лежат недогоревшие клочки». И он указал мне на краешек стола, где в вазе были остатки пергамента. Я взяла первый попавшийся мне на глаза и сумела прочитать: «... исчезнуть, дабы обрести новый путь и новые знания, которые дает каждое место...», из чего я поняла, что старый путь ему не давал тех знаний, к которым всегда стремилась его вечно ищущая душа. Впрочем, отец не дал мне рассмотреть его, как следует: что-то меня в нем насторожило. Я спросила отца о причинах такого поспешного отъезда — быть может, ему что-то известно, думала я? И он поведал мне о том, что «Авл предстал перед порогом нового будущего, ступил на стезю, которая устремит его дух к той истине, которую он ищет». Так он сказал мне. А потом добавил: «Он решил стать странствующим философом. Говорил, что место привязывает со временем не только тело, лишая его бодрости и сил, но и дух, лишая его свободы и знания, что лучше сгореть в аду невежества, не найдя истины, чем своим невежеством самому создать ад уже при жизни». Не знаю, верно ли я запомнила эти слова. Да мне и понять-то их трудно. Что с вами, тетя? Вы побледнели, а глаза у вас горят лихорадочным огнем.

Пристилла и в самом деле выглядела необычайно. Она была в явном смятении, а между тем внутренний огонь вырывался, как молния рассекает своей неудержимой силою темное грозное небо. Он сжигал ее изнутри, беспощадные языки пламени бросались во все стороны, норовя поглотить все, что им поддается. В этом и была их сила — они черпали ее из слабости других. И огонь вырывался: Пристилла вскочила и беспорядочно зашагала по пути, что чем-то напоминал восьмерку. Потом замерла и, глядя глазами, наполненными необычайной мощью, промолвила:

— Как удивительно! Это все же произошло!

Возбуждение улеглось, и, она присела на скамью для двоих, приглашая друга присоединиться, и мягко и спокойно продолжила:

— Русло жизни всегда меняет направление: я это знала и предвидела, но не могла и подозревать, что оно проломится в ту сторону. Значит, пришло время тайному стать явным. Лишь борьба закаляет человека и приносит ему то, что он часто ищет в тиши и спокойствии мира, — счастье. Когда меч долгое время бездействует — он приходит в негодность.

— Но что с моим братом? Увижу ли я его? И когда? Почему он принял такое решение? Почему не попросился со мной и с мамой? Почему это случилось ночью? — вопросы вырывались так быстро, что повторить их все во второй раз и не удалось бы.

— Под черными крыльями тьмы нередко скрывают многие преступления... — хозяйка многозначительно посмотрела на Аврору. — Тьма придает нам воображение: оно расцветает, когда мы знаем о чем-то, чему не были свидетелями; но правда ускользает. Тьма мешает зряче распознать зло и рассеять его светом малейшей искры, чье чистое дерзновение раз и навсегда способно оглушить все темное.

— Зачем моему отцу обманывать меня?

Пристилла подумала, что Аврора в эту минуту была самой наивностью, что обычно ей было крайне несвойственно, но прямо об этом так не сказала: людям вообще не присуще верить тому, что говорится прямо.

– Ты подобна той капитолийской волчице, что вскормила наших славных гордых предков. Любимица Марса, она предугадала, что ей уже никогда впредь не править этим местом со своей стаей. Так и случилось. За свою любовь она поплатилась жизнью – слишком высокая цена за доверие, как мне кажется. Может, когда-нибудь, я и расскажу тебе эту историю. Вышло ли из этого добро? Как знать, как знать... Я не хотела б, чтоб это произошло с тобою. Людям так хочется верить! Им надо верить, но, как показывает жизненный опыт, самую большую ложь мы узнаем от тех людей, кому мы целиком верим, кому больше всего доверяем, как это ни печально звучит. Может, потому что не пытаемся разобраться: где правда, а где ложь? Нередко мы обманываемся сами и обманываем других, не понимая этого...

– Да, наверное, – невольно согласилась, призадумавшись, Аврора, – но такова жизнь?

Пристилла энергично запротестовала: она была слишком эмоциональным человеком, чувствительным к малейшим проявлениям этого мира, вследствие чего имела привычку переживать давно канувшие в Лету события по много раз:

– Нет! Это не жизнь такая, это мы такие! Мы, в конечном итоге, несем ответственность за все, что нас окружает – за этот мир, за порядок в нем, за те законы, которые придумываем по глупости своей и по которым пытаемся жить. А если не выходит – обвиняем кого угодно, кроме себя, в плохом устройстве мира. Без нас этот мир перестанет существовать потому, что не жизнь – причина нас, а мы – причина жизни, ибо кто, кроме человека, способен оценить красоту всего и возвысить любовь, создав здесь рай, и кто, кроме человека, способен обезобразить все и возвысить ненависть, создав здесь ад?

Аврора изумилась и не знала, что ответить, поэтому мудрая женщина решила ее успокоить:

– Все родители желают своим детям благ, но иногда в стремлении к добру они неразумно становятся на путь благих намерений и уходят в сторону, блуждая в тех противоречиях, что сами же и создали, претворив эгоистичные желания в явь. Надо их понять и простить. Когда придет время – ты увидишь правду. Хотя она ежечасно, ежеминутно нас окружает, мы ее не видим – не потому, что мы слепы, а потому, что просто пока не готовы ее воспринять. Это как средство защиты от того, что пойдет нам не во благо, а во зло. Это как выйти на поле сражения с грозным противником в блестящей экипировке, но без всякой подготовки. Всему наступает свое время. Когда же оно придет – зависит от самого человека.

За окном совсем уж потемнело, и высоко в черном безбрежном океане засверкали первые ночные звездочки – еще крохотные, еле заметные, они несли отзвуки таинственных неведомых далей, куда, быть может, отправляется душа человека после смерти тела в этом мире. Женщины тепло и с тем удовольствием, когда обретаешь близкого по духу друга, попрощались, пожелав спокойной ночи, и разошлись. Аврора направилась в свою комнату, вся еще под впечатлением от беседы, пытаясь разобраться во всем том, что узнала от своей тети. Для нее эта беседа по прошествии всего нескольких минут приобрела почти мистическое звучание. Мысли беспокоили ее, и заставляли сердце биться все чаще, тревожа душевный покой.

В комнате было приятно, свежо и чисто, и она окунулась в поток спокойствия, который внезапно подхватил ее, завладел сердцем, дыханием и даже мыслями. Ложе оказалось удобным для раздумий: недостаточно мягким, чтоб можно понежиться и с легкой душой провалиться в глубокий сон, овеянный целыми паутинами приятных сновидений, но и недостаточно твердым, от чего можно забыть о всяком сне.

Здесь соблюдалась мера, и видно стремление хозяйки дома уйти от крайностей. То же самое можно сказать и о самой комнате: она сочетала в себе черты простоты и богатства, утонченности и сдержанности, мечтательности и практичности. В ней было всего два окна: одно из

них выходило на землю с разными посевами, крохотными лачугами. В них жили земледельцы, связанные с этой землей почти кровной связью: можно видеть тот труд, благодаря которому на столах знатных особ появлялось все то, что они могли себе позволить. Другое – на чудесный роскошный сад, где всего в изобилии, особенно – цитрусовых, которые любила хозяйка сего диковинного дома. В таком саду в пору мечтать о высоких материях, устремляясь к бесконечным просторам вселенной, проводить часы в размышлениях, в уединении от всего шумного и суетливого мира.

Аврора начала предаваться легким касаниям мечтаний, что так хотели унести ее в прежде неизведанные тайники души, отпереть новые двери. Как вдруг в саду раздался какой-то странный шорох: будто кто-то крался, словно вор, намереваясь ограбить доброжелательных хозяев – те так не беспокоились об охране, наверное, полагая, что везде вокруг живут такие же добрые и щедрые люди, как они. Послышался легкий хруст веток. Как если бы этот ночной незнакомец нечаянно ступил не туда, затем раздался приглушенный вздох и вскоре в окно влетел кусок папирусного свитка.

«Квинт» – где-то в глубине быстро, как зарево, блеснула мысль со всей своей ясностью. До сей поры она лежала где-то на дне, тихо, неприметно, будто стыдясь своего существования на свете и того беспокойства, что может принести, – образец неприглядной скромности. И вот дождалась своего часа. Конечно, было бы неправдой сказать, что она позабыла о посланном ею письме и условленной встрече. Но эти дни глубоко взволновали ее юную душу множеством событий. Так увидели тропу размышлений и переживаний цветами новой жизни, и не столько красивой, сколько опасной (все новое неизменно становится опасным, если сам человек не меняется, а остается прежним), что поселили настоящий хаос в ее уме.

Мысль о Квинте была фоном ко всему происходящему с ней. И во время сегодняшней беседы с Пристиллою, эта мысль не раз являлась ей, сочетая в себе настойчивость и призрачность. Она была так неуловима, так легковесна, что под конец Аврора совсем утеряла ее.

Подоспеть к окну, и впустить скорей дорогого друга заняло считанные секунды. Стараясь не шуметь, насколько это возможно при влезании в окно второго этажа, Квинт очутился внутри.

Говорят, что по глазам человека можно узнать все, о чем он сейчас думает. Любая мысль, что проносится в голове, а тем более чувство, непременно промелькнет в глазах. И выдаст то, что сам хозяин, может, и не хотел сказать. Так, в некоторых племенах есть жрецы, шаманы, что смотрят в человека, видя в его глазах зеркало души. Сама Аврора в это не верила, но знала по себе, что прочувствовать чужое настроение можно, хотя бы и по глазам, но это совсем не то же самое, что и чтение мыслей. В любом случае, собственный ум подберет такие слова, которые б отразили это настроение – и тогда человеку может показаться, что прочитали его мысли.

Аврора ничего не сказала. Квинт стоял, как герой древних мифов. Не хватало лишь пылающего меча. Впрочем, эту роль успешно взяли на себя его лазурно-чистые прекрасные глаза. Но сколь разные чувства в них выражались! Дивно сочеталась трогательная нежность вкупе с какой-то печальной обеспокоенностью. Так сладко и грустно смотреть в эти глаза! Почему жизнь такая? Вот еще пару минут назад она беззаботно радовалась его приходу, а теперь ей больше всего хочется, чтобы он не произносил ни слова, потому что от этих слов, чувствовала она, многое изменится. Просто обнял бы, согрел своим дыханием и руками, и тогда вся сладость жизни, весь смысл существования бытия растворились в «здесь и сейчас». И ничего не было бы проще этого мига: не было нужды что-то понимать или объяснять, порой так бывает, что слова словно теряют свою силу и притягательность, и разгадка оказывается по иную сторону. Авроре даже показалось, что все ее колебания стали отголоском такого далекого теперь прошлого. Но это с ней случалось не раз – она знала, что они всегда возвращаются. Не сразу, так позднее. Но в эту, ставшую бесконечной, минуту она была счастлива сознанием того, что эти блаженные чувства заполнили все ее существо.

Впрочем, Квинт не прислушался к тому, что говорила ее душа. И почему мужчины так редко слышат эти пляшущие голоса: никогда не задерживаясь на одном и том же месте, они шепчут о невысказанных желаниях и тайных молениях, уповая на догадливость и сообразительность мужчин, которыми те так любят кичиться. И как часто это остается всего лишь их самолюбием. Женщина, которая умеет прощать, – настоящая женщина. И она прощает ему это, как и многое другое, о чем он никогда даже не догадается!

– Я пришел пасть к твоим стопам, моя богиня, лунный свет сегодняшней ночи, лавровый венок, перед которым склонит голову самый победоносный воин, – с безыскусной торжественностью, которая была, наверное, его природным дарованием, произнес влюбленный юноша. О чувствах его можно было догадаться за милю – Квинт не умел скрывать, да и нет ни одного верного способа их утаить.

– О, Квинт! Зачем, скажи мне, так печально с любовью смотришь на меня? Ужель зима своим молчаньем преобразила так тебя? – прошептала со скрытой тоской в голосе Аврора.

Квинт всей своей фигурой выражал ту физическую стойкость, которой одарила его матушка-природа. Он обладал характерным для многих римлян мужественным телосложением и недюжинной силой: такой себе могучий боец неотразимого римского воинства. Статный красавец, рослый, он в то же время сочетал в себе силу и крепость тела с чертами тонкой изысканности: красивый нос правильной формы отличал его от большинства римлян с большими носами, подобными громадам прибрежных скал; утонченный подбородок и аристократические глаза – сколько красавиц могло оказаться в его объятиях лишь из-за одних выразительных глаз! Но он все свои помыслы сводил к одной, зато той, что одним блистательным видом затмевала всех остальных, за что соперницы ее втайне презирали и проклинали, но при встрече мило улыбались и заводили речь о женской судьбе.

Как вдруг, не взирая на свои формы, он пошатнулся, дернулся сначала вперед, а потом назад, пытаясь удержаться на ногах. Но не удержался и, как раненый лев, тяжело опустился на холодный пол.

В невольном порыве Аврора бросилась к нему с распростертыми объятиями. Ее лицо стало бледным, как одинокая луна безмолвной ночью, на которую стремительно надвигаются грозные клочья темных, чернее самой ночи, туч, и она в смертельном испуге, охваченная невыразимой мольбой и предчувствием неизбежной трагической развязки, бросает свои последние лучи света, в которых все еще теплится жизнь, но жизнь уж скорее мертвеца.

За эту минуту девушка пережила столько, что рассказов об этом, соберись здесь ее искренние подруги, хватило бы на целую ночь: неизъяснимая радость, упоение и игра, гордость и стыд. И даже какое-то низкое самолюбие, о чем она, конечно, не упомянула бы, которое проскочило при осознании своей власти над этим существом: полным силы древних исполинов и героев, что спасали очаровательных красавиц из лап очередного чудовища, он был целиком в ее сетях. Сколь многие юноши и мужи оказывались вот так у ее ног трепещущими и молящими, взывая и прося. Безумствовали, произносили теплые, как плеск летних волн, речи, читали стихи, пели такие песни, которым наверняка бы позавидовали и сами сирены: мечтательные, полные томной неги и сердечной просьбы. Вся природа внимала им в те часы. Даже ночные птицы затихали, убаюканные волшебством звуков. Другие же не выдерживали и срывались, метались, как ужаленный в самое больное место гордый римский жеребец, крушили все вокруг, проклинали самих себя и весь мир, что обрек их на эту смертельную любовь. Впрочем, она всегда их успокаивала и обнадеживала: в этом она была искусной умелицей! Мужские души и сердца, все, как одно, лежали у нее на ладони, и она одна решала, что с ними делать: прижать к сердцу и приголубить или положить на полочку, приказав ожидать своего часа, который непременно наступит. «А разве может быть иначе? Не столь уж и жесток шутник Амур!» – увещевала она. Наступит тогда, когда его не ждешь. А поскольку многие из ее поклонников

все ждали этого часа, то он и не наступал. А те, кто отчаялся и прекратил ожидания, вдруг за приметив дочку своего соседа-торговца, – о тех забывала она, эта холодная богиня любви.

Но Квинт! Этот давний ее друг, с которым ей было так приятно проводить время! Квинт, которого она знала, казалось, вечность, видела проявления его любви... Как сейчас, она помнит его трогательное романтическое признание, и как сейчас, помнит свой мягкий, но решительный, как приказ легата⁶, отказ. Квинт, который готов был отдать ей все сердце целиком и без остатка, Квинт-загадка, Квинт-человек без адреса...

Да, да! Этот самый Квинт сейчас впервые был пред ее взором в таком состоянии. Она не отдавала себе в этом отчета, но при виде коленопреклоненного Квинта, от которого веяло холодом фатальной любви, в ее сердце что-то переменялось, что-то не выдержало и лопнуло, дало мизерную, крохотную трещину, неразличимую ни на глаз, ни на ощупь. Но трещина для сердца, что закрыто любви, может принести гибель. В безотчетном порыве бросилась она к нему. Но сколько в этом порыве было трагизма, безыскусного чувства, сострадания и чего-то нового, прежде неизведанного ей. Чего-то, что было зарей зарождающейся новой жизни.

Но сейчас она поддалась тому, что неподвластно рассудку – сердцу. Им можно править долго, водить любой дорогой, указывать путь и придумывать законы жизни, не слушать, прятать и скрывать в подземельях своей души, среди тех ужасающих мест, где человек обычно хранит страшные грехи, помещая в эту гниющую яму самое прекрасное. Но даже из ямы видны звезды, виден их неземной свет, слышны их призывы. И вот однажды вырывается наружу, срывая с себя путы ума и логики, софизмов, правильности и принципиальности, морали и нравственности, нечто новое, нечто, что жило и пряталось в глубинах. Тогда ничто не в силах его удержать!

– Что с тобой, мой друг? Тебя покинули силы? – с беспокойством и волнением в голосе произнесла Аврора. – Обопрись на мою руку!

Аврора поддержала его, и мало-помалу Квинт сделал над собой усилие и присел на стул, вовремя пододвинутый чуткой девушкой.

– Прости меня, моя недостижимая богиня! Глаза твои, подернутые страстью, любовью дышат, но не могу я им внимать. Мне этого следовало ожидать: испытание дало мне ответ, который я б с величайшей радостью не счел бы за верный. Да не могу себе позволить так поступить я. Он однозначен и непоколебим, как и моя вера в свет завтрашнего дня. И ни моя воля, ни воля хоть самого императора, не изменит того знания, которое ко мне пришло.

Девушка недоумевала, о каком таком испытании идет речь, а меж тем Квинт продолжал:

– Да! Оно осталось в прошлом: теперь мы не властны над ним, не имеем никаких прав, кроме прав памяти, – Квинт сделал задержку, а в его глазах читалось, как понимание обрело ясность и четкость. – И в наших силах лишь молча выслушать тот приговор, что заслужили: ничего не случается с нами такого, за что мы не держим ответ всем своим существованием от самой колыбели... и даже раньше...

– Твои речи смущают меня, Квинт, и угнетают: я не знаю, какое им придать значение? Я в растерянности: твое последнее письмо пробудило во мне что-то, что долгое время дремало, все прошедшие дни я думала об этом и не могла забыть твоих слов, но вот сейчас у меня такое предчувствие, что произойдет что-то недоброе. Так какую же весть ты принес?

Квинт взял ладони девушки в свои и сжал их немного – они дышали жаром чувства. Квинт вдохнул воздух полной грудью: глаза девушки настойчиво искали его глаза и как будто собирались проникнуть в самую их глубину, но это не удавалось. Тогда они бросались в другую сторону, словно ища спасения и помощи в хорошо знакомой еще с детства милой обстановке, в сокровенных вещах, что были согреты теплом ее пребывания здесь, в холстах, что изобра-

⁶ Легат – помощник начальника легиона

жали природу или мифических героев, книгах, чья мудрость сейчас была бессильна что-либо изменить.

Ночной гость отвел взгляд и посмотрел в окно: стало до смерти темно, и все вокруг, такое знакомое при свете дня, потонуло в складках чужого просторного плаща, усеянного осколками изумрудов, прозрачного хрусталя, сверкающего опала, винно-желтого янтаря. Дивная картина притягивала взор и оживала при пристальном наблюдении, очаровывала и завораживала.

– О, провозвестница зари! Что может быть печальней и трагичней того, чтобы явиться к тебе глашатаем дурных вестей? Даже мое собственное горе, мое отчаяние, что не знает границ, и которое сейчас пробрало меня с головы до пят, даже оно – ничто в сравнении с тем, чтобы поведать такие вести тебе, мое солнце!

– Говори же, говори, умоляю! Квинт! – приятный голос Авроры заметно дрожал, как осенний листок во время неумолимого ливня. – Если ты мне не скажешь, я чувствую – не доживу до сегодняшнего утра и не смогу уж любоваться рассветными лучами живого светила! Когда знаешь, что буря должна вот-вот разразиться, то ожидание ее всегда куда хуже. После нее можно быть уверенной, что новый день, когда бы он ни наступил, будет ясным и чистым.

Квинт крепче сжал нежные пальчики Авроры, словно боясь их упустить.

– Из-за моей любви к тебе я теряю голову, но, зная это и предвидя, я больше ни о чем не способен помышлять. Заключение или приговоренный к казни и то имеет больше свободы в обращении со своей бывшей собственностью, нежели я – со своим знанием. Я б винил себя всю оставшуюся жизнь, которая, о несчастье, пройдет без тебя, если не открыл бы этого.

Он смотрел на нее с немой надеждой. Она же отшатнулась от его последних слов.

– В величайшей опасности твоя жизнь и жизнь твоих близких и родных. А поэтому без промедления вам надо покинуть Рим и его окрестности. Уехать туда, где рука смерти не дотянется до вас!

Аврора не могла вымолвить и слова, настолько была сбита всем происходящим. Это до такой степени не укладывалось в ее голове: все удивительные события, что произошли за последнее время, все новые мысли, что она почерпнула из непривычных разговоров. Не имея прежде подобного опыта, она совсем растерялась.

– Может, я и сильно переоцениваю время, но это от моей любви к тебе, которая не позволяет думать о чем-то ином, кроме твоей жизни. Я хочу, чтобы она была долгой и счастливой! И готов пожертвовать ради этого всем: и своей жизнью, и своей честью. Я не могу пожертвовать только одним – душой. Но и она принадлежит тебе!

Наконец, по лику Авроры пробежали первые проблески понимания: ее живой и никогда не стоящий на месте ум начал складывать воедино все разрозненные кусочки мозаики, пытаясь выискать решение и выход из таких обстоятельств.

– Что же это за опасность, что грозит мне и моей семье? И сколько времени у нас имеется? – она старалась говорить спокойно, но некоторые нотки в голосе выдали ее волнение.

– Времени еще достаточно. Пожалуй, моя поспешность лишь и объясняется тем единственным моим желанием – увериться в том, что ты будешь далеко отсюда и загодя, хоть это и причинит мне страдания. Но мое горе и так не позволит мне видеть тебя, зато, если б я знал, что ты где-то вдалеке, то это принесло бы ту легкость и надежду, что когда-нибудь наступит время, и мы вспомним наши прежние прогулки. Сколь скоротечно время и сколь неумолимо!

Квинт задумчиво посмотрел ей в глаза.

– А что до опасности, то об ее роде я вынужден молчать. Понимаю всю нелепость положения, того, о чем я говорю, и что при этом могу сказать. Тем не менее, помимо того, что она смертельна, сказать большего не имею права. Но знай: избежать ее здесь, – он подчеркнул значимость последнего слова, – невозможно. Да! Я понимаю, что соразмерность меж опасностью и тем, о чем я умолчал, настолько велика, что ее не поглотит и Мировой Океан, берущий исток где-то на севере и охватывающий все на своем пути. Я могу лишь говорить о следствиях: на

весах – твоя жизнь и жизнь твоей семьи. Причины же откроются в свое время: время все разоблачает. И не стоит рисковать самым ценным ради того, чтобы узнать о них! Поэтому, прошу – бегите! Бегите, пока у вас есть время! Сколько это – я не знаю: может, несколько месяцев, а может, несколько лет. Но это неизбежно!

Квинт вкладывал всю силу и мощь голоса в свою речь, использовал всю выразительность, какую владел. Было видно, что он искренне верит в то, о чем говорит. И если это обман – то он и сам в него уверовал. Самые лучшие обманщики, как это ни странно, – это те, кто или не знает о своей лжи или настолько поверил в нее, что она стала для них правдой.

Аврора выслушала молча и спокойно. Внешне спокойно. Внутри же у нее сейчас был самый разгар битвы – сердца и рассудка. Сердцем она хотела послушаться совета тотчас же, но рассудок высказывал вроде правильные доводы, и она послушалась их.

Неспешно, медленно выговаривая слова, будто взвешивая ценность и правильность каждого, их значение и смысл, начала она:

– Ты поведал мне много пугающего и загадочного. Хватит для того, чтобы не заснуть сегодняшней ночью. Даже если я поверю в это без всяких на то причин, а я склонна поверить, это твое слово, Квинт, – я не знаю, как мне убедить в этом своих родных?

Ей удалось совладать с собой, и дальше речь потекла, как вода:

– Взгляни на это глазами иного человека: он ни о чем не догадывается, ни о чем не знает, и вот – тут ты обрушиваешься на невинную жертву со своим знанием, с цельной картиной всего и вся в голове. Участь же другого весьма печальна: либо верить и действовать в согласии со своей верой (редко когда находится вера, что не требует действия: иначе это уж не вера, а оправдание происходящего, без надежды на лучшее), либо не верить и подчас терзаться сомнениями в правильности выбора. Пока не наступит момент истины, и правда не раскроет свои объятия...

– И придется пожинать плоды своего неверия, – грустно закончил фразу Квинт.

Аврора не нашлась, что ответить на это, и лишь опасливо пожала плечами.

Человек в своей жизни не раз подвергается испытаниям верой. Когда все будущее целиком зависит лишь от ее наличия или отсутствия. И поставленный в такие нелегкие обстоятельства, начинает понимать, в чем заключено истинное величие человека – в его духе.

Следующие минуты прошли в томительном молчании. Сам воздух наполнился печальными вестями, действуя так же угнетающе, как и первые осенние бури и ливни, что поливают слезами небесными не только землю и природу, которая цвела уж в прекрасное время года, но и душу человека, неотделимую от души мира. И кажется: проживаешь те же взлеты и падения, внезапные восторги и безудержные порывы отчаяния, смены настроения, водоворот эмоций, что, кружа спиралью, уносит с собой все обломки. Обломки, что остаются как после природы, так и после человека, когда происходит крушение великих мечтаний. Тогда говорят, что мечты не прошли через горнило жизни. И так навсегда останутся они лишь невоплощенными мечтами – тем, чем могли бы быть, да чем не стали. И эти обломки продолжают носиться и носиться в воздушных потоках, пока кто-либо другой не осмелится узнать их смысл и последовать стезей мечты. Жизнь нельзя лишить ее силы: пока есть хоть малейшее ее проявление – она будет существовать: в неистребимых образах, в самых потаенных уголках мироздания. Она будет прятаться, набирать силы. И когда она выйдет из своего убежища во всем могуществе, то уж ничто не удержит ее.

Наконец, Аврора вышла из оцепенения и пробудилась к жизни, сумев освободиться из плена мыслей, что сковывали и обездвиживали. Глаза на краткий миг замерли, но вновь ожили, полные решимости. Она приняла как данное то, что произошло, и нашла ответ, который могла принять. А уж верный он окажется или нет – то покажет жизнь.

– Позволь мне спросить еще одно, Квинт, только одно... – ее слова оборвались на полуслове и потонули в тишине ночи.

Аврора искала ту смелость, что позволяет совершать такие поступки, перед которыми остальные люди немеют.

– Ты упоминал о своем горе, мой друг, но не поведал о нем, что острою стрелю вонзилось мне в сердце и лишило меня понимания той страшной опасности, которая, по твоим словам, как Дамоклов меч, висит надо мною. Если это в моих силах, то я готова помогать тебе со всем рвением, на которое способна моя душа, лишь бы твоя боль стала меньше!

Лукавила она или нет – вот какие мысли мелькали в голове Квинта: разве могла эта столь сведущая в любви девушка быть такой наивной и не разгадать причин его горя, она знала о его любви и слышала его неоднократные признания? Разве могла она быть столь чистой и простодушной, чтобы не почувствовать на своей руке тепло его любви, не услышать шепот его сердца, звучащий лишь для нее одной, дыхание, что насыщает воздух тем заметным ароматом, от которого можно прийти к безумию так же легко, как попасть в немилость к императору по пустяковому доносу, лишиться самой сущности, с радостью отдав все на алтарь любви? Столь нежное создание просто не могло не быть дочерью богини – Квинт в этом был целиком убежден.

– Аврора... Аврора, – шепотом произнес он, и та сила и выразительность, которая звучала в его голосе всего несколько минут назад, миг пропала. Он словно боялся потушить неосторожным дыханием свечу в лампаде, что освещала комнату, бросая на все неестественные причудливые фантомы. – Это мое горе, которое никогда не станет моей радостью, и я никогда не смогу узнать заветного чувства. Это мое горе, которое никогда не пройдет, которое будет жить во мне скорбящей тенью, делая светлое темным, радостное – печальным, верное – безнадежным. Это моя безудержная скорбь – о том, что могло бы быть, но чего никогда не произойдет. И чем скорее я приму это как данность – тем быстрее должно пройти это мое страдание. Я постоянно уверяю себя в этом, но эти уверения – лишь бесплодные попытки убедиться в том, что сказка не может стать жизнью. Это моя судьба. Это моя воля!

Квинт казался безутешным, настолько его горе было нескрываемым и живым. Видно было, как кровоточит его сердце от этого.

– Но воля ж человека способна победить все, если дело касается отчаянных шагов и поступков!

– Воля всецело зависит от него самого: самый безвольный человек может иногда в своей жизни проявить высочайшие качества характера, которые ему не свойственны среди будней. Но порой наступают времена, когда мир вдруг меняется, меняемся и мы сами, становясь пусть на минуту, пусть на час теми, кем могли бы быть. Все мы сами выбираем себе жизненную дорогу и то, что будет на ней лежать: удивление и восторг или печаль и тяготы, – голос Квинта постепенно загудел, будто уходя под толщу земли, стихал, стихал и... стих.

Что-то происходило в нем самом: было видно, что внутри него велась ожесточенная борьба и его речь, вырвавшись из груди, приоткрыла занавесь этой битвы:

– Как нелегко подчас и нестерпимо хранить все время это самообладание, будучи не в силах ощутить свободу своих чувств. Бесплезно звать к своему сердцу – оно мне давно уж не принадлежит, но разумом постичь мне не дано, когда же стало так светло, но, право, свет несет с собою не только чашу радости... покоя требую поныне. Но, видно, пропадет в могиле то чувство смелое к тебе, однажды зародилось что во мне. Не знал я сам, что так печально возникнет на пути отчаянье и вкупе с радостью любви, величия и торжества божественной прекраснейшей поры, что ни говори, а в это время мы идем по той же тропе, где боги шли, пришло ко мне страдание и ураган в крови. Всему причиной чувства зазорные искры, лишили что меня той мглы, в которой прозябало, суетно дыша, все существо мое... Тобою пленено сполна – уже два долгих года. И тогда – надеялся облечь мечту я в жизни плотные слои, постичь неведомые доселе края, олицетворяя то, чем переполнилась земля, все втайне сберегая и храня

невиданные блага, ценности – дары любви, нежданно мир зарею озаряя, придя, чтоб изменить все на долгие-предолгие века.

Вот зачем все люди и живут, стремясь все к одному, безудержно любя, – проникнуть в сокровенную тайну бытия – и смысл жизни обрета, понять, что главное для счастья – жить любя!.. Аврора, ты прости меня! всю жизнь прожил уму благодаря, великой цели посвятил всего, казалось мне, себя. И должен следовать теперь я ей всегда – уж не отпустит никогда до самой смерти ведь меня! О, путеводная звезда! Я знал, на что иду тогда! Я знал, чего лишусь я ради достижения тебя: испить до дна обязан последствия выбора. И знания высокого я песнь спую – великой будет жизнь в бою! Но ясно вижу всю вину свою: не мыслил, что свободу дам я сердцу моему. И трещину брони пробил поток – и безысходности настал порог. На нем стою я до сих пор: веду борьбу не со врагом. С самим собой, своей душой – как не терять уж тут покой? Пришла мне помощь и беда – есть люди помудрей меня: узнал я истины ответ. И должен следовать теперь!

Я умирал, решение приняв хотя б узреть тебя, все зная, что тропинки наши уж не пересекутся никогда. Но выжить как-то смог, в беде своей иль в счастье, быть может. Я знал, что миг любви однажды потревожит, и с выси вмиг меня низложит неукротимый сей порыв. Я знал: безумием я пьян – все это было там во мне, в сомненьях памяти, в вине. Букеты красных роз и их шипы – как все едино в глубине! Рассудка вмиг любовь лишает и времени не оставляет на то, чтоб думать было мочь. О, чувство! Рассудку недалекому невмочь тобою завладеть напрочь! Не знаешь ты сомнений и преград, готово сокрушить ты бездну валов, пройти сквозь непроходимый ад! Когда выходишь ты из-под контроля – охватывает нас огня безудержная воля! Сомненья робости долой отвергнет тотчас...

О, покой! Когда-то были мы дружны с тобой, и сердце билось, как часы, и кровь текла величественно и грациозно по руслу своему, укладываясь в берега. Как речка – широка, вольна, спокойна и размеренна. Покой когда-то был со мною, и разум с сердцем дружен был, не скрою. О! Умер я для жизни прежней! Как быть теперь мне? Надежде, что ли, все отдать? И отдых свой и сердца гладь?

О, безысходность ты моя! Тебя я не любил всегда. Теперь же ты как знамя мне близка: со мной отныне на века! О, сердца стук, о гром небесный, огонь горит – и нет там места: и кровь кипит, бурлит и стонет! Все! Ум теперь уж не догонит. И сердце вдруг проснулось тоже, стучит оно, как молота по коже – колотит, не жалея сил, кричит, взывает, что Венера – мой кумир! И я в отчаянии, рыдаю, не в силах вынести печали. Любовь и разум, добро и зло, как свет и тень, как облако: несет с собою и дождя прохладную отраду, солнца чистый луч и всю награду, что заслуживает человек: бесконечно в крайности бросаться он готов вовек. Безысходность ты моя! Дай же силу для меня: трагичен путь мой... без тебя. И жертва эта велика. Не позабуду я тебя. Вот мое горе – люблю тебя я, но не должен, не могу. Путь этот – не для меня...

И он смолк. Вместе с ним умолкло все вокруг: черная ночь за окном, звуки, каким не внемлет ни один человек, если только не проникнет в эту душу мира, что также живет – каждую секунду своей жизни меняясь. Сейчас это было мрачное и гнетущее зрелище. Вокруг слышались пугающие и тревожные звуки опасности: она то скрывалась в потемках черноты, страшнее которой нет и в самых глубоких местах ада, то выползала наружу и бросала свои грозные взгляды на весь мир, приводя в откровенный трепет все живое.

Песня любви закончилась, оборвалась одновременно с последним словом Квинта. Пришло холодное чувство безысходности, какое липкой паутиной набрасывалось в такую минуту на безутешно скорбящего влюбленного. У кого хватило бы сил отказаться от любви, по своему желанию выбрав путь, на который отказывалось ступать сердце?

Тишина повисла в воздухе так явственно, так печально, что ничто не могло нарушить трагической сцены и прервать беспредельную скорбь: ни крик нищего на далекой улице, ни тревожные трели ночного неба, ни завывания взволнованного ветра, мечущегося в муке нераз-

деленной любви – упадок духа или его взлет? Как знать, к чему все это могло привести? Иной раз после такого человек приходит к потере смысла всего своего существования, и тогда ничто не в силах вернуть его к жизни – лишь всемогущее время. Но и оно оставит свои шрамы на его душе: неизлечимые шрамы пережитого страдания, боли, что никогда не проходит бесследно. Как раны от давних сражений, оно будет рассказывать о прожитых годах человека, выступая немым свидетелем, досконально зная через что пришлось пройти, чем поступиться, что утратить. Обо всем этом оно обязательно расскажет. И стоит приглядеться, чтобы увидеть рубцы души. Обычно человек тщательно скрывает от окружающих прошлую боль, но близкая душа способна разглядеть многое такое, что способно покоробить и испугать. Столько всего кроется в глуби! Поломанные щиты, затупленные и ржавые от нескончаемых боев мечи, брошенные копья надежд, что так и не достигли своей цели, поле, усеянное множеством стрел желаний, руины сожженных зданий, брошенных мостов и переправ, гибель и смерть, страхи и боль – все это остается навсегда в человеке.

Иной же раз, пережив такое, воля и желание человека воскресают с новой жизнью и обретают новую любовь, превосходящую все страхи. Тогда дух человеческий переносится через поле брани вихрем надежды, стремясь скорее покинуть эти унылые места, оставив мрак позади себя. И оставляет он за собой эти крохи, обломки сокрушенных чувств. Но не забывает. Чтобы знать, что темное – оно всегда рядом, оно способно захватить и поработить в неожиданный час, превратить в своего слугу, дабы дальше разносить эти чувства другим людям, обретая таким беспощадным способом все больше и больше могущества, чем больше боли и страдания разнесется по миру. И зная, видя это рядом – никогда не забывать, что противоположность этому – свет и любовь.

И как начнется вдруг движение в направлении тьмы, своей волей сделать выбор: и тьма не устоит и сбросит свои оковы и цепи. Свет не ведает преград: он сокрушает и поражает зло, не ведая страха и ужаса – главных орудий тьмы. Но, не испытав эту сторону бытия, нет возможности ее вовремя распознать и остановить, сделать другой. Тот, кто знает боль и страдание, тот, кто пережил разлуку – тот вновь обретет радость и счастье, тот вновь обретет надежду на новую встречу. Одно немислимо без другого, оно неразделимо. И после выдоха всегда будет вдох! Истинная, великая любовь пробуждает благородство духа, которое способно переродить человека.

Тени дрожали на столе, пламя свечи слабо волновалось, затихало и затихало, предчувствуя свою скорую кончину. Свеча догорала, но не сдавалась, боролась до последнего своего вдоха, так и не потеряв веры в то, что после тьмы всегда непременно должен наступить свет, что еще произойдет возрождение к новой жизни. Свет или тьма, добро или зло, любовь или ненависть – противоположности всегда сосуществуют вместе. Лишь человек делает выбор.

Все застывало. И движения сковывались холодной гладью мира и пропадали в безразмерной мгле. И два силуэта обнялись так, что издали казались причудливым холмом посреди комнаты. Устремленность ввысь еще больше придавала какой-то нежной трагичности и чувства, что очутился вне времени и пространства: не было ничего вокруг, кроме этих двух миров, и страшно было даже пошевелиться – ненароком нарушить что-то, что безвозвратно уходило. Хрупкий мир вздохнул и замер.

Глава X. Молния разит и скалу

«Гнев – кратковременное безумие...»

Гораций

Рассвет начинал тревожить спящий город. Он казался безмятежным, но было заметно, что эта сонность – именно кажущаяся. Появись враг на горизонте – и от всего этого мнимого покоя не осталось бы и следа, подобно тому, как первый же легкий порыв ветра поднимает всю пыль, что лежала десятилетиями в каком-нибудь темном подвале скупого владыки.

Квинт и Аврора лежали на кровати. Они застыли в позе дружного единства – благо, места там хватало на двоих с излишком. В который раз повторилась самая древняя история на земле, лишь переиначенная на иной лад. И для этих двоих людей, что обрели друг друга, не существовало такого ветра перемен.

Да и мог ли существовать такой ветер вообще? В эти минуты это казалось совсем неправдоподобным. Вокруг могли происходить какие угодно сотрясения: даже если б суровые воды Тибра разъярились бы и вышли из берегов, подступив к самому окну этого громадного в своей крохотности мира, то и тогда, нет сомнений, это не смогло б разрушить идиллическую картину мира и покоя.

Под утро, когда все кругом стало проясняться, та грань, что отделяла явь ото сна, потерялась, и не было ни малейшей возможности разобраться: то ли это явь, похожая на чудесный сон, то ли это сон, похожий на безукоризненную явь. Покой и чистота были здесь полновластными хозяевами. Чертог обители их надежно укрывался под пристальным взором невидимых слуг добра, чья воля – незыблема на земле, и ни одна сила не могла поработить, власть ее – не преходяща, а вечна.

Легкий трепет пробежал по телу Авроры. Такое бывает в еле уловимое мгновение перед пробуждением, когда человек возвращается из короткого путешествия по стране незримых теней в царство живых. Тогда, точно разыгрывая себя, он с удивлением открывает глаза и замечает невиданный мир, который всего минуту тому назад был блеклым отблеском зари на горизонте. Вот и Аврора очнулась, плавно открыла глаза, как ставни, и к ней сразу же устремились все яркие краски поднебесья, поражая своим многообразием форм и окраски, содержания и смысла. Ее прекрасные глаза – кристально прозрачная вода в сказочной лагуне и то будет не такого поистине небесного оттенка – сосредоточились на густых вьющихся кудрях Квинта цвета воронова крыла. Когда, бывало, они развевались на ветру, то представлялись целой стаей воронья, что взметнулась в едином вихре в обитель богов, тревожа тех своими судорожными криками, вселяя беспредельный ужас в суеверных смертных, чья воля и желание оказывались парализованы слугами Марса.

Утренняя колесница огня, что выехала в час рассвета, тусклый мрак неба, что только светлело, пронзительные завыванья ветра и шелест писем на столе, догоравшая зола тех деяний, что совершают наши души в милом после утомленья сне, – рождение каждого нового дня неповторимо и чудесно: всем несет оно щедрые дары.

Прошло несколько минут, показавшихся долгими, а красавица все любовалась дивным ликом давнего друга. После вчерашнего дня и этой ночи что-то переменилось, как будто перевернули солнечные часы, и течение жизни изменило направление в русле на совсем иное, доселе неизведанное. И суровое дыханье зимней поры приносило не прохладу, а усладу разгорающегося дня.

Пора было вставать: как бы кто-то из служанок или сама тётушка Пристилла не навестили ее утром. Аврора осторожно высвободилась из крепких объятий юноши и тихо встала. Один ее легкий шаг – но этого было достаточно, чтобы его глаза открылись. Странное дело: они были

полны любви – две бездонные чаши, глубокие, влажные, словно от утренней росы; их хотелось покрыть бесчисленными поцелуями, но в этом любящем взгляде не только осталось вчерашнее выражение, оно скорее еще усилилось и стало невыносимым. Печальная радость теперь была ее уделом. Девушка не знала, чему повиноваться – тому, что теперь мало-помалу становилось ее новой жизнью, приоткрывалось, как страница книги, которую она из-за своей изнеженной небрежности некогда пропустила. Теперь она проклинала то былое свое отношение ко всему. Она всегда любила себя, но ныне это превращалось в ненавидящую любовь. Может, именно от такой любви и погиб когда-то Нарцисс.

Пробудившийся юноша сам разрешил все ее сомненья твердым и оглушительным решением, которое сотрясло все своды сердца, обрушив ее вековые стены, повидавшие на своем немало веку множество самых коварных, безумных, откровенных, неприкрытых, чистых, искренних или отчаянных приступов. Это была самая страшная минута, хоть эта хрупкая женщина и не понимала в данный скоротечный миг всей значимости роковой минуты. Отзвуки страшного грома все еще раскатывались внутри нее, когда Квинт закончил произносить слова, что давались ему с таким тяжелым трудом, которому позавидовал бы и Сизиф.

– Нам надо прощаться, но я не знаю, как это сделать... Можно просто сказать «прощай». Но я не могу: я люблю тебя! Твое имя затихнет на моих губах вместе с предсмертным хрипом, что оборвет мою несчастную жизнь. Спасай свою жизнь и мою душу! Забудь меня!

Он двигался, как механическое орудие, хотя на самом деле собрал все свои силы и подчинил той воле, что вершит судьбу человека, предопределяет всю его жизнь. Квинт отдался в волю сил, ему неподвластных. С нечеловеческим усилием поднялся, последний раз бросил взгляд неимоверного внимания ко всему, словно собираясь навечно впитать в себя это утро, этот воздух, это дуновение ветерка, но главное – это нежное существо, преисполненное всего того, о чем можно было только мечтать смертному, не гневя богов. Он исчез так же, как и появился. И ничто не могло сказать, было ли это на самом деле, или это, может, был лишь тревожный сон, навеянный вчерашним беспокойным днем.

Холод... Холод проникал сквозь полуоткрытое окно, будоражил мысли, как полуобнаженная женщина: сковывая робкого, вознося мечтателя, вдохновляя поэта. Холод проникающий, торжествующий, но вместе с тем отмеченный какой-то неведомой грозной силой, навевающей размышления о смерти.

Аврора всегда была деятельной особой и никогда не брезговала претворять в действительность любую свою мысль, что проблескивала у нее в голове, проносилась яркою звездой и скрывалась за серыми тучами привычного. Принять окончательное решение было делом нескольких мгновений: надо действовать и действовать бесповоротно, быстро и без промедления. Каждая секунда все отдаляла и отдаляла Квинта от дома в неведомом направлении: он всегда исчезал так же таинственно, как и появлялся. Долго думать, взвешивать все последствия своих действий было некогда. Нужно сделать выбор. И она его сделала. Победило сердце.

Молодая патрицианка накинула легкий плащ и проворно, по-мальчишески, чего нельзя было ожидать от такой знатной красавицы, спустилась со второго этажа, прыгнула на устланную зимними цветами землю сада. Ловко обежав все деревья, она вынырнула из растительной чащи, оказавшись недалеко от дома слуг, что следили за состоянием сада и поддерживали его в прекрасном виде – хозяйский глаз любил ухоженность и красоту, а для этого приходилось долго трудиться. Крошечный огонек горел в одном из окон, но сейчас Аврора едва обратила на это внимание. Она вся была поглощена поиском той знакомой еще с детства потайной двери в цветочной стене. Всю стену увил плющ и побеги винограда, которые даже в эту пору года представляли собой красивое зрелище для глаза, но любоваться некогда: надо было найти выход, время стремительно уходило, а вместе с ним – и Квинт. И она может его больше никогда не увидеть! Не услышать звука его голоса, его речей, не увидеть больше его глаз, кудрей, носа – нет, это было недопустимо.

Время быстро бежало, как испуганная охотником лань, но Аврора была еще резвее: нащупав нужный рычаг, она надавила на него, может, даже слишком усердно – он поддавался и легкому нажиму, но нетерпеливость характера давала о себе знать. Дверь приоткрылась, стала видна мощенная камнями уличная дорога. Вскоре вся она покроется ступнями бесчисленных ног, и эти камни будут отражать звуки десятков разных языков и наречий, но это будет много позже, не сейчас. Она юркнула в полуоткрытую дверь, даже не побеспокоившись ее закрыть с наружной стороны. Хотя, если б она это сделала, то, как бы вернулась тогда обратно? И как бы после этого объяснила свой ночной уход? Глаза ее сейчас бегали по трем сторонам: Квинт тоже вышел таким же образом – она обо всем сообщила в письме – и то, что эту дверь снаружи можно открыть, но для этого надо было приложить почти нечеловеческую силу, чтобы преодолеть сопротивление пружин в механизме тайника. Так и задумано: снаружи дверь открывалась только, если приложить в нужном месте нужную силу. У нее же такой силы не было, а потому, даже не обратив внимания на это, подсознательно девушка оставила себе лазейку для возвращения назад, на прежний путь. Что-то в уме не дремало, и в горячке без ясности, в холоде утра продолжало мыслить.

Три дороги вели отсюда в разных направлениях. Как у мифического трехголового существа, каждая из них смотрела в свою сторону, будто имея свое мнение. Влево вела изящная стезя, уходя вглубь эсквилинского района: в застроенные домами густонаселенные места, где в жаркий летний день могло стать плохо. В отдалении проходил Марциев акведук, второй по величине в Риме после акведука Клавдиев, построенный через четыре с половиной столетия после рождения самого города. На уличных водоразборах виднелись увядшие цветы. После праздника Фонтаналий⁷ их до сих пор не убрали.

Прямо смотрела прочная дорога, мощенная с усердием и трудом, какого и требовал надежный путь: из дня в день приходилось выдерживать бремя тяжело груженных повозок, тысячи и тысячи ног людей и коней, мулов и ослов. Это была Лабикская дорога, ведущая в славный город Лабик и далее в Герники. Если же, напротив, идти от Пренестинских ворот (одних из многих, что выводили из города), можно попасть на рынок Ливии, а идя над северным склоном эсквилинского холма и далее – в район Субуры, самый густонаселенный район Рима.

Если же пойти вправо, то дорога могла вывести через Лициниевы сады дальше к Паллантовым, и дальше – на Тибурскую дорогу, и так можно выйти за город прямо к преторианскому лагерю, где находились казармы солдат.

Аврора простояла несколько минут в размышлениях, пытаясь понять, по какой же дороге пошел Квинт. Более склонялась она к той, что вела прямо, но ни на что не решалась. Но вот что-то мелькнуло там, вдали. Как все же вовремя она заметила темный силуэт, такой знакомый, что могла представить его с закрытыми глазами и во сне. Мигом устремилась она за ним, при этом держась возле стен домов: в любое время можно примкнуть к ним незаметной тенью, раствориться в утреннем тумане.

Быстрые шажки резво понесли девушку вперед по мостовой. Расстояние было велико, но, к счастью для девушки, путь лежал прямой, и она держала Квинта в поле своего зрения, понемногу приближаясь к нему. Сердце билось так истошно, будто перед сраженьем: яростно вырывалось из груди, не находя себе места, надрывалось от стука и молило о свободе; взывало к справедливости своей хозяйки и предупреждало, что такие испытания оно терпит лишь из-за большой любви к ней – от всякого другого не потерпела бы, но чем не пожертвуешь ради того, кого любишь без всяких условий, просто потому, что он есть. Все быстрее и уверенней, все ловчее и с большим проворством Аврора преследовала своего дорогого друга, который еще

⁷ Фонтаналии – праздник, ежегодно отмечаемый 13 октября в честь главного бога источников Фонта. В этот день, чтобы умиловить его, родники и колодцы украшали всевозможными цветами и дарами

так недавно был рядом, а теперь вот – идет своей дорогой жизни, понурился, будто под нестерпимой тяжестью, в неведомом направлении, к неведомому дому.

Он всегда был так предельно осторожен, так собран и так таинственен: исчезал настолько легко, словно был тенью из царства мертвых, а не человеком из плоти и крови мира живых. И сейчас не походил сам на себя. Аврора несколько раз из обычного женского любопытства посылала за ним верных людей, чтобы узнать, где же он живет и кто он вообще. Но ни одна из этих попыток не приносила успеха: люди приходили разочарованные. И с виноватым видом объясняли ей, что нельзя проследить за тем, кто запросто сливается с любой тенью на дороге так, будто ему покровительствуют темные силы из самой преисподней (на что она всегда улыбалась с милостивым и немного презрительным снисхождением), кто способен затеряться среди толпы. Наверняка умел он и перевоплощаться в какого-нибудь суетливого и мелкого прохожего. Такого незначительного, что глаз попросту его не замечал, не в силах разглядеть того, от чего столь привычно отворачиваться, а может, добавляли они, он взывал к всемогущим богам, и те, точно были в долгу, превращали его в великого человека.

«Великий человек», – суеверно убеждали они. Когда-то Авроре было жаль этих людей: для них «великие» люди были полубогами, рожденными под счастливою звездой. Между собой они часто шептались, рассказывали небылицы. Так после одной из них выяснилось, что Квинт темными ночами общается с небожителями, может даже, самим Юпитером. «Свет бога затмевал собой солнце и, страшась ослепнуть, объятые ужасным испугом, мы падали ниц», – оправдывались они, втайне зная, что лучше вызвать гнев своей госпожи, чем впасть в немилость «великому человеку».

Но теперь-то Аврора сама убедится: владеет ли он силой обращаться тенью и есть ли у него кров на этом свете, не опустится ли он и в самом деле под землю, разверзнув ее, горя в языках пламени, или он воспарит в облака?

Прямая улица вскоре заканчивалась. Благо, расстояние стало теперь таким, что, прячась сама, она могла проследить за ним в любом переулке и не упустить его милые очертания. Тут Аврора задалась вопросом: а с каких это пор его очертания стали вдруг для нее милы? Как это могло случиться: она всегда держала свое сердце в рамках тех чувств, которые позволяла себе сама?! А этого она уж точно не позволяла, иначе помнила бы, но память о таком скромно умалчивала – это было помимо ее воли.

Аврора всерьез задумалась: а стоит ли в таком разе продолжать эту слежку, ведь это – предательство по отношению к самой себе. И предало ее собственное сердце! Этого она всегда ожидала от своих служанок, которые подчас сбегали неизвестно с кем и так никогда не возвращались. Отец смотрел на такие случаи иными глазами, слишком по-доброму, как ей казалось – эти люди заслуживают той строгости, с которой с ними обращались, в ином случае – они бы все изменили.

«Но слабые боятся что-то менять, – размышляла Аврора, – сильные же живут, действуют по своей воле и в согласии со своим разумом. Именно поэтому сильных людей – тех, кто имеет силы на то, чтобы менять себя и мир вокруг себя, – слабые и называют «великими». И величие их в том, что они – сами творцы того мира, в котором живут. И они понимают это. Именно в этом знании – сила сильных мира сего: они не ждут, пока боги сделают их жизнь счастливой, а делают ее сами таковой. Именно ими создано все, что теперь окружает нас: высокое искусство, могущественнейшие города и страны, идеи и порядки, наконец, сам властелин всего мира – Рим».

Такие мысли сопровождали Аврору во время всей этой затеи, которая неизвестно еще к чему могла привести. Но Аврора была непоколебима в раз принятом решении и следовала ему, даже если вовремя понимала, что оно неверное – это она взяла от отца. Воспитание, его образ жизни, мысли – все это оказалось какой-то частью отражено и в ней.

Квинт тем временем повернул в один из узких переулков, и девушке пришлось на время оставить свои мысли и пустить все свое усердие на то, чтобы достигнуть угла дома быстрее, чем человек, что водит дружбу с тенями. По словам слуг, он скрывался в одной из тех бесчисленных улочек, которых такое превеликое множество в этом подобии улья. Она еще ускорила свой бег и достигла угла дома как раз вовремя, чтобы заметить, как он исчез в глухой тьме. Такие теснины возникли из-за того, что дома стояли слишком близко и рядом: даже одному человеку там становилось неудобно. Аврора последовала за беглецом. Дорога лабиринтом вела к неизвестной цели. Так они петляли долго.

Квинт шел, словно зачарованный какой-то силой или зачумленный – ноги несли его сами, а голова и вовсе странно вела себя: то падала куда-то вниз, то вновь с заметным усилием поднималась вверх, на уровень горизонта. Он был скорее пьян, чем трезв. Вот только держался на ногах он уверенно, будто его болезнь была скорее душевного, чем физического происхождения. Но видно было, что он с трудом понимает, куда и зачем идет. С тем же успехом он мог бы идти и ночью в кромешной тьме – ничего бы от этого не поменялось. Статный красавец – сейчас он чувствовал себя глубоким старцем. Он понимал, что отказывается от своих чувств добровольно и сознательно. В конце концов, это был его собственный выбор.

Стесняющая боль сковывала сердце: он изначально знал, на что идет, и какие страдания предстоит перенести. То, что он сейчас чувствовал – это была всего-навсего гнетущая тишина перед полновесной бурей, всего лишь судорожные всхлипывания ветра перед тем, как разбушевавшаяся стихия будет крушить и ломать все вокруг, самое дорогое и любимое – все это подвергнется гневной и неуправляемой мощи стихии. Обо всем этом он знал, но верил, что выдержит, что переживет этот сезон непогоды, что все минет, и его жизнь вновь покроется белоснежными облаками нежности и чистоты. Он должен пережить – иного выхода нет. Либо пасть, чего ему совсем не хотелось, присоединиться к павшим друзьям и недругам, что попытались пройти подобный же путь, но не выдержали, не рассчитали возможностей своих ограниченных сил, поэтому натолкнулись на такие преграды, которые не смогли преодолеть. А может, им просто не хватило веры, кто знает?

Он шел, не разбирая дороги. Все вокруг казалось каким-то нереальным. Настолько, что даже видения из ночного кошмара были более настоящими, чем то, что сейчас его окружало. Но вся беда в том, что в кошмаре-то есть хоть одно оправдание: человек оказывается подвластен ночным призракам и теряет силу влиять на события, что вершатся там, – и эти события изменяют его, превращают в легкую игрушку судьбы.

Последний же день показал, что человек может изменить многое – мир. Мир той жизни, которую он вел до сих пор, пропал навсегда, бесповоротно: пути назад не было и быть не могло. Свершенного, как известно, не воротишь. Как наивно было бы думать иначе! Полагать, что чем-либо, будь то искупление, жертва богам или иным силам, или заклятье, можно вернуть то, что однажды было, но прошло. Его не стало – и с этим можно только смириться, направив все помыслы и силы на что-то новое, чтоб и оно однажды, в один погожий денек, уступило место еще более новому: так жизнь и течет, движется; она не стоит на месте, в ней постоянно происходят порой разительные, а порой и малозначительные перемены, – и того же она требует и от человека. Иной раз он прислушается к зову жизни, усмотрит в прекрасной дали тот изгиб реки, тот поворот, который ведет в новые края, и поверит, что все достижимо, все пройдет гладко и безболезненно. Не успеет он сосчитать и до десяти, как окажется в совсем другом, незнакомом месте, и каждое открытие несет с собой познание чего-то ранее неведомого. А иной раз и не прислушается – и жизни поток вдруг выбросит его на берег, где он не ожидал оказаться, где будет барахтаться, лишенный привычной среды, пока не отыщет на ощупь, наугад тот путь, который вновь вернет его в ручей с живительной водой. Тогда ожидает его возвращение в стремительную реку жизни, а после – все начинается сначала.

Путь, такой хорошо знакомый, не удивлял его ничем – все было видно сотни раз, а потому и не представляло такого зрелища, которое держало б в постоянном внимании и напряжении все: зрение, слух, мысль. Такова уж особенность восприятия: насколько б восхитительными не были окружающие картины, если видеть их каждодневно и разглядывать только внешне, то придет привычка. А с привычкой они станут пресными, потеряют всякую выразительность и значение, кроме лишь того, что нужно достигнуть конечной точки пути. Так и Квинт сейчас шел, оглушенный своим же решением, не в силах связно мыслить: все думы увязали в трясине чувств – и надо было их пережить.

Вокруг было тихо и спокойно: в столь раннюю пору люди в этом районе все еще предавались блаженному сну. Раннее-раннее утро застало улицы Рима такими пустыми и безжизненными, что можно было ожидать чего угодно. Например, того, что чума выкосила почти все население этого величавого города, и вот остался один-единственный представитель рода людского, и он сейчас бредет так уныло и болезненно. Боль эта отдается гулким ударом в сердце, не лишенном сочувствия и сострадания к ближнему.

Квинт осматривал места, некогда дорогие сердцу и уму. Сейчас они лишь бередили открытые раны, навевая воспоминания давно канувших в Лету дней.

На самом горизонте, выше всех домов и построек, висела в стыдливой дымке молодая девственная луна, пряча всю полноту чувств и трепеца в предвкушении. Голубовато-розовый свет тихо лился на землю. Этот час был овеян ее нежной и трогательной заботой. Ясный взор одиноко оглядывал землю, как детские невинные глаза, чистые и наивные, смело смотрели на мир, веря в его непорочность и святость.

Квинт остановился и пристально всмотрелся в юный месяц: тому не были ведомы сомнения и страдания, печаль и разлука, горечь проигранных сражений, боль от потерь, не были ведомы скорби и плач, разочарования и крушение детских надежд, павших в скоротечном беге лет. Квинт смотрел на самую невинность и проникался этим духом – так взрослый удивляется и умиляется, когда заглядывает в глаза ребенка, поражаясь тем сокровенным знакам, что видит там, дивясь тому, что находит там себя, забытого и покинутого всеми. Но, прежде всего, диву дается, когда видит самого себя: он столько лет бежал от того, кем является на самом деле; бежал, не зная передышки и покоя, бежал, пока не разделил глубочайшим морем, непреодолимой бездной, непроходимой пустыней и громадными скалами себя и того, другого. Кто был его неотделимой частью, но ему не нашлось места среди точно таких же людей, что когда-то точно так же бросили себя. Бросили в той части незабвенной поры детства, где тьма вековая и хаос безраздельно завладели покинутой территорией: места сожжены и назад возврата нет.

Безумный влюбленный обрел, наконец, ту ясность видения, которой мешали чувства: мир преобразился, стал иным, теперь в нем заиграли совсем другие краски – вырисовывалась картина его будущей жизни, и он это сейчас чувствовал и видел, как никогда, быть может, уже не удастся. И за эти несколько минут юноша помолодел, отбросив на краткие и пронзительные мгновения всю свою зрелость и рассудительность – есть такое время, когда это бывает лишней обузой.

Благоразумие оставило его, в голове начали грандиозную пляску какие-то тени. И все это происходило под веселой и не ведающей страха луной – ее покровительственная улыбка освещала ему путь, ее незримые ладони нежно касались его ладоней, поглаживали их и, задержав на секунду, отпускали, слегка подталкивая в путь. Душа его внимала неведомым, льющимся, казалось, из ниоткуда, прекрасным звукам. Они вдохновляли и окрыляли его. Теперь самое невыполнимое и трудное дело было ему по плечам, он все мог вынести – на всей необъятной земле не существовало такой преграды, пред которой он бы дрогнул и отступил; его воля не знала границ – шаг был тверд и собран, в нем уж было не узнать того человека, что предстал бы перед встречным всего десять минут тому назад.

Он шел, наполненный надеждой на лучшее будущее. Поступь была такой легкой, что можно было даже заподозрить его в том, что он не касался земли, подобно какому-то ночного колдуну, владея силами, неподвластными простому смертному. Знакомые улицы Эсквилина неотвратно приближали его к концу этого пути, но теперь он понимал, что конец чего-то одного – обязательно будет началом чего-то другого. Влюбленный, отрекшийся от своей любви, он и раньше это знал и даже понимал, но, как часто бывает со знанием чего-либо: понимать и принимать – это не одно и то же.

Как вдруг его внимание привлек неопределенный шум, донесшийся сзади. Чьи-то приглушенные голоса, спешный топот ног, шуршание одежд и бряцанье оружия, а под конец женский крик вывели его из той глубокой задумчивости, где он искал себя. Обеспокоенный шумом, Квинт развернулся, намереваясь разобраться: что же там происходило? Не медля ни секунды, он поспешил обратной дорогой и вскоре, за углом трехэтажного дома, увидел следующую сцену: трое молодчиков в туманных туниках, плащах темного цвета и с лицами, скрытыми наброшенным капюшоном, окружили молодую девушку красивой наружности. Она была в шелковом покрове, хоть и красивом, но слишком легким, как для такого раннего утра, – причем один из троицы закрыл ладонью рот этой милой особы, а двое других держали ее, показывая что-то знаками.

Квинт не стал дожидаться концовки этого неприятного происшествия и поспешил на выручку: что-что, а благородство духа всегда призывало его в ряды защитников красоты и поборников справедливости. Насколько ж огромным было его удивление, когда в этой юной особе он узнал ту, что должна была уйти из его жизни, так или иначе. Да, это была Аврора – ее светлый лик он не перепутал бы ни с каким иным. Тогда он пристальнее взгляделся в одеяния и лица, которые нет-нет, да и выглядывали из-под капюшонов, являя на свет то резко очерченные губы, то строгий нос, а то и выразительные глаза, при этом сразу чувствовалась скрытая в них сила. Ошибки быть не могло. Он проделал загадочные и неповторимые движения руками. Один остался возле Авроры, хотя это и было излишним: та была настолько растерянной, насколько удивленной, и любопытство своей силой превосходило все остальные опасения и страхи девушки, возникшие было от такой неприятной встречи с незнакомцами. Двое же других приблизились к неожиданному спасителю с почтительностью во взоре и смиренно поклонились ему, готовые дать любые разъяснения. Квинт мягко взял за рукав туники того из них, что оказался ближе к нему и, повернувшись спиной к потрясенной Авроре, проговорил:

– Братья луны и сыновья покровов ночи! Мое приветствие вам, доблестные служители общей идеи! Неужели так все изменилось и пали наши уставы и заповеди, что мы, подобно презренным в своей надменности отцам-основателям Рима, готовы хватать юных дев, под прикрытием мрака скрывая свои преступления? Проверьте же меня, коль я тяжко заблуждаюсь!

Говоря все это, Квинт держался, хоть этого и не было заметно, настороже: второй брат луны, как назвал их этот беглец от любви с непонятной властью, был лишен всякой возможности что-либо предпринять, поскольку стоял впереди и чуть в стороне; первый же был мягко и ненавязчиво взят за руку, будто в братском порыве.

Но сомнения Квинта вскоре были рассеяны.

– Всеведущий отец солнца, властвующий над светом и тенью, мое почтение вам, доблестный и славный Квинт! Я, Тулл, буду держать, если позволите, ответ за всех; а рядом со мною – смелый и упорный Клиний, а там, подле девы, чья красота несравненна, – честолюбивый, но вполне свободный от запальчивости и легкомысленных поступков, Лутаций. Признаю ваше право на справедливое дознание, и смею заверить, что наши уставы соблюдены и сохранены в полной целостности. Если что и изменилось, так это наша уверенность в общем деле, которая не знает границ, это наши жизни, которые мы готовы отдать на алтарь идеи, наше самопожертвование и самоотречение, наше служение истине, которая позволила жить жизнью, неведомой

большинству. То, что вы видите – это малый долг, что мы возвращаем совету: теперь за каждым воином света должны следовать, подобно теням, его земные отраженья. И быть не только десницей совета, но и самыми лучшими слугами и воителями, преданными настолько, чтобы без страха и с честью отдать свои жизни во имя торжества справедливости.

– Как странно. Это правда, что я ушел от дел совета, но всего только на краткий срок, хотя неделя для такого времени, как наше, признаю, может изменить многое, если не все. Мне надо было получить жизненно важный ответ, который определит весь мой дальнейший путь. Но что же я слышу? Чем обусловлены такие решения? – Квинт был искренне удивлен.

– Да! И совет со вниманием и должным пониманием отнесся к вашему уединению, поэтому вас не стали беспокоить теми событиями, что произошли. Неприятности разрешились с молниеносностью мысли, и все причины, равно, как и следствия, были устранены с решимостью льва, готового нанести удар: мощно и без промедления.

В это время в разговор вмешался доселе хранивший упорное молчание Клиний, высказав верную мысль, что это разговор стоящий, но не для этого места и времени, поскольку негоже оставаться на виду в такой неподходящий для прогулок час – нельзя пренебрегать опасностью привлечь к себе излишнее внимание: люди по природе любопытны, а вкуче с подозрительностью и силой представляют собой грозную смесь.

Тулл же, будто обуял безудержный порыв красноречия, и его ничто не могло сдерживать – он все говорил и говорил, преисполненный той радостью, которую испытывает ребенок, страстно желающий поведать всему миру свою историю, когда, наконец, находит достойного слушателя.

– ...но при этом мы были с тобой денно и нощно, сменяя друг друга, не смыкая глаз, сопровождали тебя во всех твоих редких отлучках, так что готовы были предупредить даже намек на любую опасность, которая б могла приключиться с тобой.

Воитель света, как назвал его Тулл, может, даже с излишним усердием потянул того за рукав, так, что материя издала характерный звук. Отведя его в сторону, юноша проговорил тихим, но красноречивым голосом:

– Эта девушка не представляет для меня опасности – вы это должны были прекрасно знать и действовать иными методами. Сейчас же вы отведете ее домой! И побеспокойтесь о том, чтобы с ней все было хорошо, а меня предоставьте моей участи – она настигнет меня независимо от того, будете ли вы рядом или нет.

Затем, собрав всю свою волю в кулак, он с непроницаемым лицом, будто высеченным из гранита, подошел к Авроре. Недолго помолчав, он обратился к ней, но звучали они, как заранее заученный текст:

– Аврора, родственница зари, твой чуден лик, бесспорно, но им другого ты благослови и осчастливь, коль сможешь. Мои же дни уж отданы служенью – ничье веленье не в силах это изменить. Смирись ты с этим! И меня же отпусти: не принадлежу себе я боле, и чувства мои не вырвутся на волю – не властен я над неумолимым роком. Искал я долго и нашел: нашел я для сраженья поле, в доспехи боевые облачен и опоясан я мечом; от подвигов любовных теперь я отлучен. И днем, и ночью к битве я готов, и это добровольный выбор мой – в нем места нет теперь уж боле для тебя, и пропасть воздвигаю я не зря: не годится дочери любви витать там, где смерть свои развяжет пляски, где крики, стоны... все напрасно? Нет! Все новое придет, когда лишь старая эпоха отойдет! – при этих словах чувствовалось, как он внутренне загорался огнем, который поневоле передавался и окружающим, но затем, будто внезапно вспомнив о чем-то важном, существенном, он сник и закончил глухим голосом с гробовыми оттенками. – Прощай, Аврора. Не жалею напрасно: сама знаешь силу юности и красоты. Не забывай лишь одного: совета, как от друга, моего, именно того, что Рим – не лучшее место для жизни. Спешу в другие города, и обоснуйся навсегда. Живи и люби! А поле для войны – не для тебя, пойми! Прощай!

Сразу после последнего слова Квинт отвернулся, чувствуя, что еще чуть – и он не перенесет такого напряжения воли – она прогибалась, как тисовый лук, но не ломалась. Он не мог слушать приятное пение ее голоса, который так много для него значил: так и хотелось свернуть с избранного пути. А этого он допустить не мог. Дав знак Клинию, он подошел к Туллу и шепнул ему на ухо:

– Ты пойдешь со мной: мне предстоит многое узнать из того, что я пропустил.

Клиний же мягко, но с таким видом, что нельзя было ослушаться, взял Аврору за плечи и свободной рукой, приглашая жестом, указал на обратный путь. Аврора в смятении чувств растерялась: с одной стороны, она досадовала на то, что все так произошло, и была печальна, так что сердце провалилось куда-то в темную яму и не хотело возвращаться; с другой же, ее любопытство было доведено до точки кипения и вулкан страстей ее, о которых она и не догадывалась, медленно пробуждался, требуя удовлетворения, грозя неминуемым взрывом.

К счастью или к несчастью, но обстоятельства переменялись столь быстро, что сами участники, которые должны были следить за тем, чтобы их не застали врасплох, оказались застигнуты именно таким образом! Внезапное появление какого-то низкого и беспомощного, как показалось на первый взгляд, старикашки, резкий свист, похожий на крик визгливой обезьяны, и вопрос, заданный зычным голосом бойкого торгаша – все это произошло одновременно и оставалось поражаться его недюжинному таланту. Хотя для этого не было времени.

– Чего вы здесь делаете, и что здесь происходит? – спросил он наполовину дружелюбно, наполовину настороженно.

Его глаза вовсе не выражали симпатии, скорее – наоборот, но складывалось такое впечатление, что ему приходилось быть таким по долгу службы, а при других обстоятельствах он мог бы запросто вас обнять и целовать от избытка радости. Впрочем, в эту минуту ждать добра не приходилось.

Дух у Квинта был препаскудный, но он прекрасно понимал, что должен ответить, тем более что глаза старикашки необъяснимым образом среди всех пятерых остановились именно на нем, словно требуя незамедлительного ответа.

Не прошло и секунды, как Квинт резко вспылел. И удивился: он полагал, что находился в спокойном состоянии, как вдруг со всей ясностью нашел в себе такую вспылчивость! Удивился чрезмерно, полагал, что эта черта характера ему-то уж точно не присуща! Но удивление не остановило его выкрика:

– Гуляем! А разве нельзя, – как-то глупо, с мальчишеским вызовом, прозвучавшим в голосе, выпалил юноша первое, что пришло в голову, – или мы, быть может, нарушаем какие-либо законы, внесенные на сенатское рассмотрение вчера вечером, и которые надо выполнять уже с сегодняшнего утра в здешних краях? Да и по какому праву вы интересуетесь нами?

Квинт не ожидал от самого себя такой опрометчивости: пожалуй, это был редчайший случай, когда он потерял присущее ему самообладание и поступил так, будто боялся чего-то неопределенного. Вся эта тирада выглядела крайне неумно и даже комично, будто исходила из уст рассерженного отрока, а не человека, чей жизненный путь вел по таким полям, что в качестве жертвы на алтарь была принесена сама любовь!

Аврора переводила глазами то на Квинта, то на этого странного на вид, вооруженного – за поясом у него она углядела небольшой кинжал – человека, ожидая, каковой же будет развязка.

До сих пор молчавший Лутаций лишь немного ослабил свою хватку, по-прежнему не спуская глаз с девушки. Перепутать его с влюбленным не составляло труда, хотя некоторые приметы заставляли усомниться: темный плащ и капюшон на голове, словно он скрывался от милой, напряженная поза и повадки сторожа; да и сама милая, как видно, не сильно разделяла предполагаемую любовь.

Клиний невольно подался туловищем вперед, будто готовясь к прыжку, и его вполне можно было бы принять за атлета, если б не его глаза. Такие глаза бывают у хищника, что

защищает своих детенышей: холодно, решительно, они смотрели с нескрываемой угрозой на своего врага, казалось, шептали о том, чего не следует делать, если тому дорога жизнь. И в них был шорох ночи, когда малейший шум способен напугать до полусмерти, и не было утешения дрогнувшему существу под этим бешеным, не знающим пощады, взором.

Тулл смотрел куда-то поверх Квинта, в то же время краем глаза отслеживая малейшие движения незнакомца, и думал при этом, что последние слова во фразе точно-то уж были лишними: человек без прав, человек без силы, заведомо обреченный в таком разе на неудачу, попросту не будет задавать лишних вопросов из прирожденного страха, знакомому каждому, кто вступает в прежде неведомый мир, не зная, что его там ждет. Уж кто-кто, а он-то это прекрасно знал; вот и сейчас одна его рука покоилась на рукояти верного клинка, спрятанного в полах туники – это сильно стесняло и без того не слишком широкую свободу действий, которую предоставлял такой вид одежды. Но зато, невзирая на неудобства, он чувал непоколебимую уверенность в себе, смелость, силу, волю и способность совершать такие поступки, которые в любом другом случае себе не позволил бы.

Все вышеописанное заняло всего несколько скоротечных секунд, в которые уместилось столь многое, что сложно даже представить полную картину, и еще гораздо большее, что вообще осталось за пределами картины.

Незнакомец, щуплый на вид, но, по-видимому, до чрезвычайности опытный мужчина, чьи годы жизни давно перевалили за зенит, не выдал своих колебаний, а лишь, прищурился, и спросил:

– Как это гуляете? Здесь? Рядом возле виллы достойного сенатора Атилия Натта? Или разве вы не видите стен, вас окружающих? Или разве вы не видите колонн и усадьбы, роскошно расписанных? Не притворяйтесь, подлецы, вы не проведете старого вояку, перед вами не какой-нибудь безусый юнец: я за вами давно слежу – с той самой минуты, как ваши сандалии преступили сюда. Ваш стовор слышен за милю, и вам не удастся уйти от справедливого возмездия: послал я за полицией, да и слуги господина сейчас будут!

Клиний, аккуратно потянувшись рукой за своим клинком, прошептал еле слышно:

– Что за чушь городит этот обезумевший старик? Он лишился дара сообразительности – это проклятие богов, которых он прогневил; лишит никчемной его жизни – и дело с концом!

При некоторых словах, что долетели до слуха, Квинт насторожился, но сейчас ум его был занят тем, как бы выйти из сложившейся обстановки с честью. Нельзя открывать себя, но при этом он хотел сохранить жизнь людям, которые по своему неведению или невежеству, что почти одно и то же, совершают глупые поступки, а потом сами же и раскаиваются.

К несчастью, старик говорил сущую правду: и вот из-за поворота показалось несколько странно облаченных людишек. Одни – в каких-то ночных одеяниях, будто их только что стащили с кровати, но при этом с накинутыми поверх кожаными доспехами, другие – в штанах на галльский манер, подпоясанные, и с каким-то подобием рубахи, а попросту – обмотаны куском дешевой ткани; в шлемах, древность и изношенность которых сразу бросалась в глаза; в руках у них были у кого дубины, у кого длинные палки с заостренными концами, а у кого даже и мечи, впрочем, неизвестно достоверно – умели ли их владельцы обращаться с таким оружием. Умели или нет – этот вопрос был на их совести, правда, настроены они были крайне враждебно и всеми своими жестами выражали кипевший в них гнев – оттого ли, что жилось им на белом свете не очень хорошо, или что плохо питались и одевались, или что оторвали их от редких часов отдыха; а может, это все жило в них от рождения и впиталось с молоком матери – то было неведомо. Но их слова и жесты подтверждали первое впечатление об их настрое, притом чувствовалось: от слов они жаждали перейти к делу. Их было восемь, а вместе со старцем, который еще бодро держался на ногах и наверняка так же бодро дрался, – девятеро, а перед ними было всего четверо мужчин и одна особа женской стати. С одной стороны – полно оружия и готовых к бою, с другой – внешне безоружные. Это первых подзадоривало и раскаляло.

Обстоятельства не позволяли Квинту медлить, хотя бы он того и хотел: он предвидел дальнейшее, и это ему вовсе не нравилось. Он не раз имел дело с подобными людьми – их мысли, если и витают где-то, то точно, что не в том месте, где они сами находятся: пред их взорами постоянно проносятся картины их жизни. И поэтому живут они, будто в бреду: не сегодняшним днем и не завтрашним, равно, как и не вчерашним, – это было зелье безумия, которое они пили постоянно и уже не могли обходиться без него. И вымещая на мнимых своих врагах всю накопленную горечь, они как бы изживали ее, хотя от этого им и не становилось легче. Поэтому так часто случались жестокости среди тех, о ком Фортуна забыла то ли по случайности, то ли преднамеренно. Есть, конечно, и другие – кто под тяжким грузом обстоятельств наоборот становится сильнее и духовно, и физически, преодолевая все с упорством, достойным, быть может, и лучшего приложения. Такие люди – всегда искренние, простосердечные и доброжелательные. Жаль, сейчас Квинт видел впереди лишь суровые лица и озлобленные глаза, сжатые в немой угрозе кулаки тяжело дышащих то ли людей, то ли зверей.

Квинту хватило той минуты, на протяжении которой все замерло и воплотилось в причудливый рисунок талантливого художника, чей талант как раз и состоял в этой неповторимой манере придать образам своего воображения дыхание жизни – оживить их. Мысль работала лихорадочно и, как никогда, быстро: изо всех путей надо было выбрать лучший.

Обретя столь необходимое хладнокровие, придавшее мысли ясность и трезвость, а телу – свободу и скорость, Квинт смело, с какой-то фанатической решимостью, которая почти всегда присутствует у людей с сильной волей и характером, двинулся на толпу вооруженных слуг. Он понимал, что ими движет, откуда они черпают неистощимые силы для выживания: из вечного страха за себя и неумолимого желания мести. Он шагал твердо, непоколебимо, подобно могучей горе, вдруг пришедшей в движение – и беда тому, кто окажется на пути.

Медленно, почти черепашьям шагом, ступал он по римской земле. Будто Ахилл, воитель света все сокращал наполовину расстояние. Так могло продолжаться бы бесконечно, как заметил бы иной философ, но миг, когда будущее неотвратимо выберет из множества разнообразных одеяний какое-то одно, приближался.

Глаза Квинта горели внутренним огнем и сверкали, подобно божественной звезде на ночном небосклоне, обладая каким-то гипнотическим воздействием на окружающих: все слуги и даже сам старец, повидавший на своем веку немало, были заворожены. Сами они об этом вряд ли догадывались, но, околдовано следя за пламенным взором, подпали под действие его сил.

У людей, внимающих голосу сердца, помимо их воли свет находит отражение в глазах, как даже крохотный огонек виден за много миль, колеблясь среди тьмы вокруг. Но есть люди, которые настолько преуспели в этом, их чувствознание и то, что зовется наитием, настолько высоки, что они овладели этими силами и научились влиять на других. Эти силы всегда успешно воздействуют на неискушенные или слабые умы, потому как чаще всего их владельцами оказываются люди простодушные, искренние и открытые сердцем: они неподвластны тонким мучителям ума с его двуликими играми, и не разуверились еще в добре.

Ум, цепкий, хищный зверек, живя отдельно от человека, часто использует того для исполнения своих желаний. Внушить беспечному и неразборчивому человеку, что все обстоит совсем по-иному, не составляет труда. Истинные устремления души отступают, как бедность честного пасует перед богатством развратника в глазах лжи. И мир такой человек зрит совсем по-иному: сквозь призму личных, как ему кажется, умозаключений. Он видит мир, но каким – преломленным и ненастоящим. Такой ум, зная своего недруга, не пустит к человеку звуки опасного, слишком живого сердца. Заблуждения начинают тяготить, хорошая жизнь, вопреки всему, – опускает на самое дно отвратной бездны, где строятся золотые дворцы роскоши и богатства, лживой чести и нравственности; где служат пороку и топчут добродетель, где поощряют грязь и опошление чистоты, где рабство узаконивается, а свобода искажается. Одни лишь шпили дворцов гордо и надменно вздымают над бездной. Именно в этом хорошее и плохое

едины: и то, и другое стремится кверху, к свету, но с разных высот. А потому и путь у одного – короткий, легкий, но нечистый, а у другого – длинный и труднопроходимый.

Труднопроходимым был и путь Квинта: он пролегал через препятствия намного более опасные, нежели горные ущелья, усеянные пиками смертоносных скал, чащобы дремучих лесов, полные голодных и яростных хищников, стремительные и неудержимые порывы могучих рек, сбивающие с ног. Но много опаснее всего этого был человек – самое непредсказуемое существо на земле. Все остальные опасности носят для него вполне предсказуемый характер. А значит, с ними можно бороться. Лишь от человека нет спасения – никогда не можешь знать наверняка, чего от него ожидать. Поэтому почти каждый, когда слабость одолевает, где-то на еле уловимой струне своей души, испытывает непонятный смутный страх перед незнакомцем. А во что он обращается – в робость или наглость – то зависит от характера самого человека.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.